3447 Z6Z5b

> Belinskii C Sophineniia



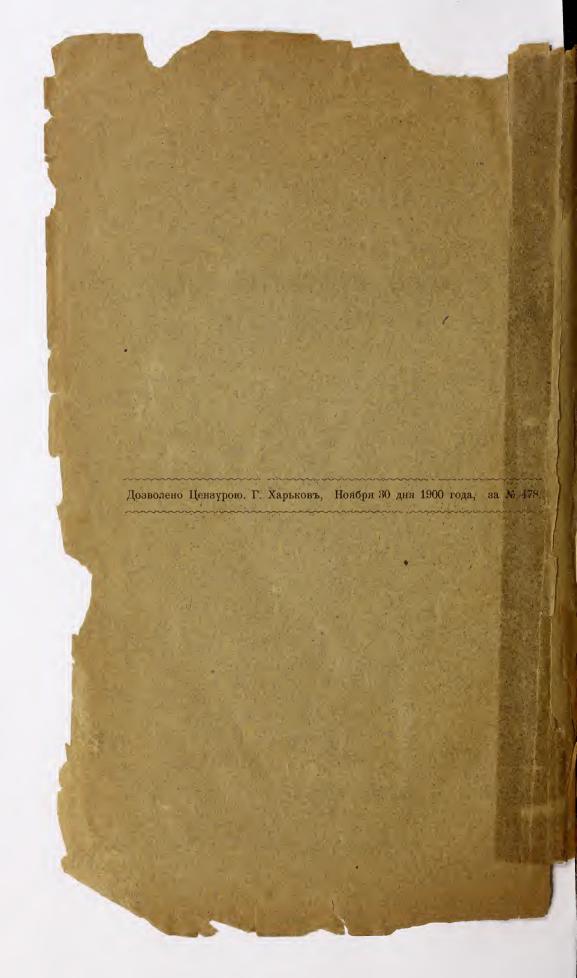
THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES

СОЧИНЕНІЯ

B. T. BEJUHCKATO.

Статьи о Жуковскомъ

изданіе книгопродавца П. М. ЛЕСМАНА.



СОЧИНЕНІЯ

B. I. BEJINHCKATO.

Статьи о Жуковскомъ.

изданіе книгопродавца п. м. лесмана. 1900. I.

PG 3447 Z625b

ВЫДЕРЖКА ИЗЪ СТАТЬИ:

JUTEPATYPHЫЯ МЕЧТАНІЯ.

(элегія въ прозѣ).

... Появленіе Жуковскаго изумило Россію, и не безъ причины. Онъ былъ Колумбомъ нашего отечества: указалъ ему на нъмецкую и англійскую литературы, которыхъ существованія оно даже и не подозрѣвало. Кромѣ сего, онъ совершенно преобразовалъ стихотворный языкъ, а въ прозѣ шагнулъ далѣе Карамзина; вотъ главныя его заслуги. Собственныхъ его сочиненій немного; труды его-или переводы, или передълки, или подражанія иностраннымъ. Языкъ смілый, энергическій, хотя и не всегда согласный съ чувствомъ, односторонняя мечтательность, бывшая, какъ говорять, следствіемъ обстоятельствъ его жизни-вотъ характеристика сочиненій Жуковскаго. Ошибаются тъ, которые почитаютъ его подражателемъ нъмцевъ и англичанъ: онъ не сталъ бы иначе писать и тогда, когда бъ быль не знакомъ съ ними, если бъ только захотъль быть върнымъ самому себъ. Онъ не быль сыномъ XIX въка, но быль, такъ казать, прозелитомъ; присовокупите къ сему еще то, что его творенія, можеть быть, въ самомъ діль проистекали изъ обстоятельствъ его жизни, и вы поймете, отчего въ нихъ нътъ идей міровыхъ, идей человъчества, отчего у него часто подъ самыми роскошными формами скрываются какъ будто Карамзинскія иден (напр., "Мой другъ, хранитель ангель мой!" и т. п.), отчего въ самыхъ лучшихъ его созданіяхъ (какъ, напр., въ "П'явц'я во стан'я русскихъ вонновъ") встрвчаются мъста совершенно риторическія. Онъ быль заключенъ въ себъ, и вотъ причина его односторонности, которая въ немъ есть оригинальность въ высочайшей степени. По множеству своихъ переводовъ Жуковскій относится къ нашей литературъ, какъ Фоссъ или Авг. Шлегель къ нъмецкой литературъ. Знатоки утверждають, что онъ не переводиль, а усвоиваль русской словестности созданія Шиллеровъ, Байроновъ и проч.; въ этомъ кажется, нътъ причины сомнъваться. Словомъ. Жуковскій John Jewanning Philip

шій русской литератур'в неоцівненныя услуги, поэть, который никогда не забудется, котораго никогда не перестануть читать; но, вмісті съ тімь, и не такой поэть, котораго бы можно было назвать поэтомъ собственно русскимь, имя котораго можно бы было провозгласить на европейскомъ турнир'ь, гді соперничествують народными с лавами.

II.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ СТАТЬИ:

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1841 ГОДУ.

...А.—Почти въ одно время явились они (Жуковскій и Батюшковъ), какъ двъ яркія звъзды, на горизонть нашей литературы и дружно совершали по немъ свое, полное тихаго свъта, шествіе, пока горестная судьба не остановила одну изъ нихъ на полудорогъ и не вельла другой продолжать уже одинокій путь по новымъ и чуждымъ для него пространствамъ, при ослъпительномъ свъть вновь взошедшаго солнца... Жуковскій и Батюшковъ-оба поэты и оба прозанки; оба они двинули впередъ и версификацію, и прозу русскую. Проза ихъ богаче содержаніемъ прозы Карамзина, а оттого кажется лучше и по формъ своей, которая въ сущности не болбе, какъ усовершенствованная стилистика Карамзина, чуждая своеобразнаго, національнаго колорита, и больше искусственная и щеголеватая, чемъ живая и сросшаяся съ своимъ содержаніемъ, какъ, напримъръ, проза Пушкина и другихъ паровитыхъ писателей последняго времени. Ученики победили учителя: проза Жуковскаго и Батюшкова единодушно была признана "образцовою" и вет силились подражать ей... Въ наше время уже никому не придетъ въ голову потратить столько труда, хлопотъ, времени, искусства и прекрасной прозы на повъсть, въ родъ "Марьиной Рощи" или "Предславы и Добрыни", и если бы кто написалъ ихъ въ наше время, никто бы не сталъ читать... Это отъ того, что въ наше время не дорожать однимъ языкомъ, а требують "слога", разумѣя подъ этимъ словомъ живую, органическую соотвѣтственность формы съ содержаніемъ, и наобороть, умініе выразить мысль тімь омъ. тъмъ оборотомъ, какіе требуются сущностію самой мысли,

чо и дру эборотъ были бы на-

определенны и неясны. Тогда "стилистика" годилась не для однихъ этюдовь, но считалась искусствомъ, а этюды были не исключительнымъ упражнениемъ учениковъ, но и дъломъ мастеровъ... Это очень естественно: чтобъ выучиться писать, надо сперва овладъть формою, грамматика всегда предшествуеть логикь. Наша литература была до Пушкина ученицею, особенно въ прозъ: вотъ причина исключительнаго владычества стилистики, убитой Пушкинымъ и уступившей свое мъсто "слогу". Со стороны поэзін заслуги Жуковскаго и Батюшкова были несравненно выше и дъйствительные, чъмъ со стороны прозы. Но здъсь оба поэта совершенно расходятся и въ направленіи, и въ сущности, и въ результатахъ своей поэтической д'вятельности: Жуковскаго нельзя назвать "поэтомъ", въ смысль свободной, творческой натуры, которая въ разнообразныхъ и роскошныхъ художественных созданіях исчерпываеть самобытную, ей собственно сродную и принадлежащую сферу міросозерцанія. Оригинальныхъ произведеній Жуковскаго немного, да и ть нейдуть ни въ какое сравнение съ его же собственными переводами изъ нъмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Между его оригинальными произведеніями есть небольшія (величина въ лирическихъ произведеніяхъ часто есть признакъ отсутствія поэзін и присутствія риторики, отсутствія мысли и присутствія разсужденій), проникнутыя чувствомъ, пленяющія мелодіею звуковъ, красивостію стиховъ, звучностію и яркостію языка, но чуждыя художественной формы. Самое чувство ихъ однообразноуныло и неръдко походить на чувствительность. Что же касается до его большихъ лирическихъ произведеній, какъ-то: многочисленныхъ посланій, "Пъвца во станъ русскихъ воиновъ", "Пъвца на Кремль", "Иъсни Барда надъ гробомъ Славянъ-побъдителей", "Отчета о лунъ", "Двънадцати спящихъ дъвъ", "Вадима" и пр., ихъ можно считать образцами изящной риторики и стихотворнаго красноръчія... Въ нихъ чувство пробуждается ръдко-именно, когда поэть изъ чуждой ему сферы торжественной поэзін входить въ свой элементь и сладкими стихами говорить о краст-дъвицъ, тоскующей надъ гробомъ милаго, гдъ для нея и зелень ярче, и цвъты ароматнъе, и небо свътлъе... Если бъ я достовърно зналъ, что "Эолова Арфа", "Ахиллъ" и "Теонъ и Эсхинъ"—не переводы, а оритинальныя произведенія, я сказаль бы, что у Жуковскаго есть три превосходныя оригинальныя пьесы; но все-таки не назваль бы ихъ произведеніями поэта въ томъ значеніи, о которомъ сейчасъ говорилъ, потому что три пьесы, каковы бы онъ ни были, еще не мето обе обе значительнаго и обе обе обе такъ въ

Оригинальныя произведенія Жуковскаго представляють собою великій факть и въ исторіи нашей литературы, и въ исторіи эстетическаго и нравственнаго развитія нашего общества; ихъ вліяніе на литературу и публику было безмърно велико и безмърно благодътельно. Въ нихъ, еще въ первый разъ, русские стихи явились не только благозвучными и поэтическими по отдёлке, но и съ содержаніемъ. Они шли изъ сердца и къ сердцу; они говорили не о яркомъ блескъ иллюминацій, не о гром'в поб'єдь, а о таинствахъ сердца, о таинствахъ внутренняго міра души... Они исполнены были тихой грусти, кроткой меланхоліи,—а это элементы, безъ которыхъ нѣтъ поэзіи. Правда, въ стихахъ Жуковскаго то, что бы должно оставаться только элементомъ, было, напротивъ, и альфою и омегою его поэзіи, но таково было требование времени, таковъ былъ ходъ историческаго развитія нашей литературы: Жуковскій, въ этомъ случав, думая служить искусству, служилъ обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство и приготовляя его къ пріятію истинной поэзін. Державина тогда превозносили; но стихотворенія его не были настольною книгою у молодого человька и не прятались подъ изголовье красавицы. Стихи Карамзина и Дмитріева удовлетворяли не всьхъ, и ими восхищались только записные любители литературы, а прочіе превозносили ихъ болье изъ приличія. Отъ торжественныхъ одъ у публики уже заложило уши, и она сдълалась глуха для нихъ. Всъ ждали чего-то новаго, а между тъмъ къ воспріятію истинной ноэзін, въ смыслъ искусства, еще далеко не были готовы. Тогда явился Жуковскій съ своими унылыми и задушевными стихотвореніями, которыя всь сделали свое дело, принесли свою пользу. Кто теперь будеть читать или, читая, восхищаться такими пьесами, какъ "Надъ прозрачными водами" или "Мой другъ, хранитель ангель мой"? А тогда!.. Да, я еще самъ помню, что такое были они для меня послъ стиховъ Державина и его подражателей... Здъсь я долженъ едълать оговорку, чтобъ вы меня не поняли ложно и не приняли моихъ словъ за унижение Державина въ пользу Жуковскаго. По элементамъ поэзін и національности Державинъ-колоссъ передъ оригинальными произведеніями Жуковскаго, а между тъмъ дъйствіе произведеній Жуковскаго на душу читателя всегда, а въ то время особенно, было сильнъе, дъйствительнъе и благотворнъе. Причина не въ томъ, что стихи Жуковскаго, какъ стихи, гораздо лучие стиховъ Державина: это преимущество времени, не таланта; нътъ,

какая-нибуль картина-Р

сплащаго съ кіевскою княжною въ пещеръ, во время бурн, стонтъ тысячи торжественныхъ одъ въ родъ "На взятіе Измаила"... Въ поэзін Державина неръдко просвъчиваютъ чисто-русскіе, чисто національные элементы: одно уже это ставить его, какъ поэта, несравненно выше Жуковскаго, и я стараюсь особенно указать вамъ не на безусловное, не на художественное, а болье на историческое достоинство оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго, какъ на главную причину важнаго и сильнаго вліянія даже тъхъ изъ нихъ, которыя слабы въ поэтическомъ отношеніи и теперь совсьмъ забыты...

В.—Но въдь вы же сами принисываете нъкоторымъ изъ нихъ, какъ наприм., "Эоловой Арфъ", "Ахиллу", "Теону и Эсхину" безотносительное поэтическое достоинство?..

А.—И однакожъ все-таки не почитаю ихъ оригинальными пьесами, но отношу къ разряду переводныхъ, точно такъ же, какъ у Пушкина и переводныя пьесы отношу къ оригинальнымъ... Въ этомъ то и достоинство, и важность, и великая заслуга Жуковскаго. До него наша поэзія лишена была всякаго содержанія, потому что наша юная, только что зарождавшаяся гражданственность не могла собственною самодъятельностію національнаго духа выработать какоелибо общечеловъческое содержание для поэзіи: элементы нашей поэзін мы должны были взять въ Европ'в и передать ихъ на свою почву. Этотъ великій подвигь совершень Жуковскимъ. Въ его натуръ есть какая-то родственность съ музами Германіи и Альбіона, и ему, при такомъ высокомъ талантъ, легко было, въ превосходныхъ переводахъ, усвоить намъ многія изъ ихъ прекраснъйшихъ пъстър. Мы еще въ дътствъ, не имъя опредъленнаго понятія о томъ, жестереводъ, что оригинальное произведение, заучиваемъ ихъ, какъ гольнія Жуковскаго. Это сродняеть насъ съ нъмецкою и англій-"Пе поэзіею, и мы потомъ входимъ въ ихъ святилище уже не какъ ная, ны, но какъ уже рожденные посвященными... Оттого-то въ перет такъ рано сдълались возможными и переводы съ этихъ языне и изученія этихъ литературъ въ ихъ собственныхъ звукахъ; какъ, напримъръ, для французовъ и теперь еще закрыто пеобо тайны святилище, особенно, германской поэзіи. Черезъ это воды пришли въ состояние усвоить себъ германское созерцание чалітва, германскую критику, германское мышленіе. И все это вол тъ Жуковскій одними своими переводами! Онъ ввелъ къ намъ зун тизмъ, безъ элементовъ котораго, въ наше время, невозможна Сакая поэзія. Пушкинъ, при первомъ своемъ появленіи, былъ пенъ романтикомъ. Поборники новизны называли его такъ въ похвалу, старовъры-въ порицаніе; но ни тъ, ни другіе не подозръвали въ Жуковскомъ представителя истиннаго романтизма. чина очевидна: романтизмъ полагали въ формъ, а не въ содержаніи. Правда, романтическое содержаніе не можеть укладываться въ опредъленныя по самому объему и соразмърныя формы древней поэзін; оно требуеть простора и часто, такъ сказать, нарушаеть въ свою пользу права формы. Но не въ этомъ сущность романтизма. Романтизмъ-то міръ внутренняго человъка, міръ души и сердца, міръ ощущеній и върованій, міръ порываній къ безконечному, міръ таинственныхъ видъній и созерцаній, міръ небесныхъ идеаловъ... Почва романтизма не исторія, не жизнь дъйствительная, не природа и не внъшній міръ, а таинственная лабораторія груди человъческой, гдъ незримо начинаются и зръють всь ощущенія и чувства, гдъ неумолкаемо раздаются вопросы о мір'в візчности, о смерти и безсмертін, о судьбъ личнаго человъка, о таинствахъ любви, блаженства и страданія... Обаятеленъ этотъ фантастическій, запертый въ самомъ себъ міръ; средніе въка жили въ немъ безвыходно; наше время, выступившее изъ него же, не отръшилось отъ него, но расширило его новыми элементами и уравновъсило ихъ, помирила его съ исторією, и съ практическою діятельностію. Горе тому, кто, соблазненный обаяніемъ этого внутренняго міра души, закростъ глаза на внъшній міръ и уйдеть туда, въ глубь себя, чтобъ интаться блаженствомъ страданія, лельять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!.. Люди съ сильными натурами, погружаясь въ эту пучину внутренняго созерцанія, могуть делаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми том въ чуждомъ и страшномъ для нихъ мірѣ дъйствительности. . п недалекіе и неглубокіе д'ялаются піэтистами, мистиками и моринами; они толкують и понимають себя и все внъ ихъ находящеею домъ напередъ и вверхъ ногами. Но горе и тому, кто, увлечени ною вившностію, дівлается и самъ вившнимъ человівкомъ: нівть зсілвіврнаго убъжища въ самомъ себъ отъ бурь жизни; нътъ въ въ въ глубокихъ нравственныхъ началъ, ни върнаго взгляда на да гвительность; внутри его и холодно, и сухо, и жестко; жетъ любить; онъ гражданинъ, онъ воинъ, онъ купецъ, и все, что хотите, но онъ никогда-не "человъкъ", и вы никогдаус не ввъритесь, не будете его другомъ, не откроете ему никаковла тутренняго человъческаго чувства, боясь опрофанировать это мац о... Итакъ, оба эти міра, внутренній и внѣшній—крайности; равьказ сно предаваться одной изъ нихъ исключительно; но оба эти мідал вно

нуждаются одинъ въ другомъ, и въ возможномъ проникновеніи одного другимъ заключается дъйствительное совершенство человъка. Міръ внъшній встръчаетъ насъ при самомъ рожденіи нашемъ и уловляетъ (асъ: чтобъ избавиться отъ его ложныхъ и нечистыхъ обаяній, и жде всего нужно развить въ себъ романтическіе элементы. Пусть чи возобладають надъ нашимъ духомъ, возбудять въ насъ восторя чость и фанатизмъ: въ сильной натуръ, одаренной тактомъ дъйствительности, они уравновъсятся въ свое время съ другою стороною нашего духа, зовущею ихъ въ міръ исторіи и дѣйствительности; что же до натуръ одностороннихъ, исключительныхъ или слабыхъ—имъ вездъ грозитъ равная опасность—и во внутреннемъ, и во внъшнемъ міръ. Итакъ, развитіе романтическихъ элементовъ есть первое условіе нашей человічности. И воть великая заслуга Жуковскаго! Трепетъ объемлетъ душу при мысли о томъ, изъ ка-кого ограниченнаго и пустого міра поэзіи въ какой безконечный и полый міръ ввель онъ нашу литературу; какимъ содержаніемъ обогатиль и оплодотвориль онь ее посредствомъ своихъ переводовъ!.. гатилъ и оплодотворилъ онъ ее посредствомъ своихъ переводовъ!.. Трагедіи Озерова—и "Орлеанская Дѣва" Шиллера; анакреонтическія стихотворенія Державина, чувствительныя пѣсни и романсы Карамзина, Дмитріева, Капниста, Нелединскаго-Мелецкаго—и "Пѣсня Миньоны", "Голосъ съ того свѣта", "Утѣшеніе въ слезахъ", "Горная дорога", "Мечты", "Элизіумъ" "Элегія на кончину королевы виртембергской", "Сельское кладбище" "Три путника", "Теонъ и Эсхинъ", "Старый рыцарь" и проч., торжественныя оды—и такія баллады, какъ "Рыцарь Тогенбургъ"; "Ивиковы журавли", "Лѣсной царь", "Касандра", "Графъ Габсбургскій", "Узникъ", "Эолова арфа", "Ахиллъ", "Торжество побъдителей", "Жалобы Цереры", "Кубокъ", "Замокъ Смальгольмъ!.. А тамъ еще остаются переввды: "Шильонскій Узникъ", "Пери и Ангелъ", сельскія стихотворенія. "Ундина"—эта благоуханная, ме лодическая и фантастическая повъсть сердца, это оригинално ная, ме лодическая и фантастическая повъсть сердца, это оригинално переводное твореніе Жуковскаго, лучше всего поясняеть, почему его не хотять называть переводчикомъ, а смотрять на него, какъ на самостоятельнаго поэта. Дъйствительно, Жуковскаго нельзя назвать собственно переводчикомъ: въ выборъ пьесъ для перевода онъ руководствовался не однимъ безотчетнымъ влеченіемъ, но какъ будто началомъ; онъ вездѣ искалъ своего и, находя, переводилъ; всѣ переводы его носятъ на себѣ какой-то общій отпечатокъ, всѣ они образуютъ собою какой-то особенный міръ поэзіи—поэзіи Жуковскаго. Самыя оригинальныя произведенія какъ будто переводы, а переводы —какъ будто оригинальныя произведенія. Онъ не случайно перевелъ

"Орлеанскую Дъву", а не "Донъ Карлоса", не "Валленштейна", не "Вильгельма Телля": историческая сфера—не его сфера; ему родственные этотъ міръ чудесь внутренняго духа, ему болье по душь вдохновенная таинственнымъ дубомъ героиня... Да, велика, неизмъримо велика заслуга Жуковскаго русской литературь, русскому обществу! Это не временная, не относительная заслуга: многіе или, лучше сказать, большая часть его переводовь будуть въчными памятниками его огромнаго таланта, неувядаемыми цвытами русской литературы. Покольніе отъ покольнія будеть воспитываться ими на служеніе духу жизни... Я не умъю ничего лучше представить себъ его переводовъ: "Торжество побъдителей" и "Жалобы Цереры"; если бъ Жуковскій перевель только ихъ—и тогда бы онъ составиль себъ имя въ нашей литературъ. Если между его переводами есть слабые причина въ неудачномъ выборъ, а не въ недостаткъ таланта. Таковы: "Королева Урака", "Долина", отрывки изъ "Камоэнса" и т. п. Но и его неудачныя пьесы, какъ оригинальныя, такъ и переводныя, однъ уже сдълали свое дъло, другія еще будуть его дълать: ихъ содержание для неразвитаго еще эстетическаго вкуса всегда будеть замънять недостатокъ формы. Объ образцовыхъ переводахъ его я уже все сказаль, что хотъль сказать; о полномъ же циклъ его поэзін заключаю все сужденіе стихами Пушкина:

Его стиховъ плѣнительная сладость Пройдетъ вѣковъ завистливую даль; И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость; Утѣшится безмолвная печаль, И рѣзвая задумается радость.

III.

выдержки изъ статьи:

СОЧИНЕНІЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. •

Санктпетербургъ. Одиннадцать томовъ. MDCCCXXXVIII-MDCCCXLI.

1

... Таланта Жуковскаго стало бы, чтобъ явиться главою и представителемъ цълаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можетъ быть, еще болье важный элементъ въ русскую поэзію, чъмъ элементъ, внесенный Крыловымъ; Жуковскій проложилъ себъ собственный путь, въ которомъ не было

ему предшественниковъ; муза Жуковскаго возрасла и воспиталась на почвъ, въ то время никому изъ русскихъ невъдомой и недоступ-ной,—и, не смотря на то, было бы дъломъ чистаго произвола отмътить именемъ Жуковскаго какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, п не видъть въ немъ опять-таки одного изъ знаменитышихъ, или даже и самаго знаменитыйшаго дыятеля въ томъ період'в русской литературы, главою и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Вънецъ поэзія Жуковскаго составляють его переводы и заимствованія изъ н'ямецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моменть самаго сильнаго и плодовитаго движенія впередъ русской литературы Карамзинскаго періода. Но у Жуковскаго есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того, онъ быль знаменить еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозъ. Н вотъ съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзина, во многихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковскаго (въ особенности патріотическія пьесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитрієва; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе—все это нисколько не отступаетъ отъ идеала поэзіи XVIII вѣка,—идеала поэзіи, который такъ присущъ и родственъ былъ Карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковскаго, —онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношении къ стилистикъ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на предметы, складъ ума, характеръ слога и языка—все это чисто Карамзинское. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть критические разборы Жуковскаго сатиръ Кантемира и басенъ Крылова, статьи его: "Марьина Роща", "Три Сестры", "Кто истинно добрый и счасливый человъкъ", "Писатель въ обществъ" и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозъ у Жуковскаго тоже отличается совершенно Карамзинскимъ духомъ, не смотря на то, то многія статьи переведены съ нъмецкаго. Намъ, можетъ быть, возразятъ, что "Рафаэлева Мадонна" есть тоже оригинальная статья въ прозъ Жуковскаго, но что въ ней уже нътъ ничего Карамзинскаго. Правда; но проспиъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году,въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабъло съ одной стороны, усилившись съ другой: тогда Карамзинъ быль уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще, въ это время Жуковскій сталь дѣйствовать какъ-то самостоятельнѣе, освободившись отъ вліянія Карамзина. Надобно еще замѣтить, что въ это время вліяніе на литературу и слава Жуковскаго достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до сего времени Жуковскій быль какъ будто въ тіни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писалъ для "неиногихъ". И какъ тогда понимали его! Его называли "балладистомъ", въ немъ видъли пъвца могилъ и привидъній... Ему подражали, но въ чемъ?-въ формъ, а не въ духъ,-и рядъ безмысленныхъ и нельныхъ балладъ былъ плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пѣвцу народной славы,—и "Пѣвцы во Станъ" и "На Кремлъ" доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатами годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія Жуковскій получилъ именно то значеніе, какое онъ всегда имълъ. Тогдашняя молодежь, развившаяся подъ вліяніемъ великихъ событій 1814 года, съ жадностію бросилась на нъмецкую литературу, съ которою Жуковскій давно уже породнилъ русскій умъ и русскую музу. Всѣ заговорили о романтизмѣ, о новой теоріи поэзін; всь возстали противъ владычества исевдо-классической французской поэзін. Въ поэзін русской явились луна и туманы, уныніе и грусть, смерть и громъ. Но въ это время уже и кончился Карамзинскій періодъ русской литературы, и черезъ десять льть сама исторія Карайзина сділалась предметомъ неуміренныхъ и не всегда справедливыхъ нападокъ. Лучезарная звъзда поэтической славы Жуковскаго вспыхнула и загорълась ярко уже въ новомъ періодъ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковскаго, еще во всей поръ его дъятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературъ... И, однакожъ, необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзін и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Но, къ сожалънію, эти похвалы уже льтъ тридцать пять поются какъ-то на одинъ голосъ и состоятъ изъ однихъ и техъ же словъ, изъ однихъ и техъ же выраженій. А в'ядь д'яло критики совс'ямь не въ томъ, чтобъ провозгласить писателя великимъ талантомъ или геніемъ: это скорѣе дъло общественнаго мнвнія, чемь критики. Дело критики-привести въ сознаніе, путемъ анализа, общественное мнѣніе и показать значеніе, смысль таланта или генія, опредълить тотъ жизненный элементь, который составляеть исключительное свойство его произведеній и которымъ онъ обогатилъ родную литературу и жизнь своего

общества. Въ "Отечественныхъ Запискахъ" впервые было сказано, что заслуга Жуковскаго состоить въ томъ, что онъ ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ, и что истиннымъ романтикомъ русскимъ быль совсемь не Пушкинь (какъ объ этомъ кричали летъ двадцать), а Жуковскій. Слово истины не падаеть даромъ, и наше мижніе подхватили нѣкоторые "именные" (въ противоположность "безыменнымъ") критики, —тв самые, которые право критики основываютъ не на талантъ и чувствъ изящнаго, а по-китайски-на экзаменахъи числъ и цвътъ мандаринскихъ шариковъ. Но сказать даже и отъ себя (не только повторить чужое мивніе), что Жуковскій ввель романтизмъ въ русскую поэзію, еще не значить все сказать: должно развить и доказать это положение. И мы теперь очень рады, что назначивъ статъв о Пушкинв столь широкія рамы, можемъ представить во введеній къ ней картину историческаго развитія всей литературы русской, а вмъсть съ тъмъ и привести въ исполнение давнишнее желаніе наше-вполив развить и высказать нашъ взглядъ на поэта, которому мы такъ много обязаны въ дълъ собственнаго нашего развитія, съ мыслію о которомъ сливается для насъ столько прекрасныхъ и живыхъ воспоминаній, поэзія котораго давно сроссъ нашимъ сердцемъ, и къ которому теперь мы, въ то же время, чужды всякихъ восторженныхъ предубъжденій... Мы надъемся, что для публики подобная статья не можеть не быть интересна, ибо ей дорогь предметь ея, --- а отъ кого же услышить она о немъ живое, современное слово? Неужели отъ задорливыхъ педантовъ, которые кричать только объ именности и безыменности, какъ о правъ критиковать, и всякое чужое митие считають или дерзкимъ, или продажнымъ, потому только, что хоть оно и не ихъ мнаніе, однакожь находить себа сочувствіе и отзыва въ ущербь ихъ педантическимъ возгласамъ, всегда подписаннымъ ихъ собственнымъ именемъ?... Дожидайтесь отъ нихъ!...

2.

^{...} Жуковскій ввель въ русскую поэзію романтизмъ. Что жетакое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковскаго въ особен-

ности?—-Вотъ вопросъ, отъ ръшенія котораго зависить опредъленіе значенія, какое им'єсть Жуковскій въ русской литературь... У насъ много говорили, толковали, спорили о романтизмъ. "Московскій Телеграфъ" былъ журналомъ, какъ бы издававшимся для романтизма, а журналь этотъ существоваль съ 1825 по 1834 годъ. Но если толки о романтизмъ кончились на Руси съ "Московскимъ Телеграфомъ", то начались они гораздо раньше, именно въ исходъ второго десятильтія текущаго стольтія. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ попрежнему остался таинственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоположность французскому исевдо-классицизму. Отсюда, естественно, вышла ошибка: какъ подъ классицизмомъ разумѣли извѣстную условную форму искусства, такъ подъ романтизмомъ стали разумъть нарушение правилъ этой условной формы. И потому, кто соблюдаль въ трагедіи знаменитыя три единства, героями ся дълалъ только царей и ихъ наперсниковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, --- тотъ считался классикомъ; кто же, въ своей драмѣ, переносилъ дѣйствіе изъ одного мъста въ другое, на нъсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершившееся въ промежуткъ не одного десятка лътъ, число актовъ своей драмы не хотъть ограничивать завѣтною суммою пяти, а дѣйствующими лицами въ ней позволяль быть людямъ всякаго званія,—тотъ считался ультра-романтикомъ. Взглядъ "Телеграфа" на романтизмъ былъ именно таковъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служать теперешнія драматическія издѣлія бывшаго издателя "Московскаго Телеграфа": подобно классическимъ трагедіямъ добраго стараго времени, драмы г. Полевого также точно сколки и рабскія копін, только съ другихъ образцовъ, и въ нихъ не видно даже таланта подражательности, а видна одна способность передразниванья и смѣлаго заимствованія,—между тѣмъ какъ именно передразниванье и заимствованье ставилъ г. Полевой въ непростительный грѣхъ псевдо-классическимъ поэтамъ. Очевидно, что снъ классицизмъ и романтизмъ полагалъ во внъшней формъ. Пушкина поэмы, мелкія стихотворенія, самая фактура стиха,—все было ново и нисколько не походило на образцы существовавшей до него русской поэзіи: и за это-то именно г. Полевой, вм'єсть съ другими, провозгласилъ Пушкина романтикомъ, нисколько не подозръвая романтика въ Жуковскомъ.

Дъйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть

своя форма, не похожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имбеть свою, ей присущую, оригинальную форму, всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однакожъ, какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда нельзя постичь заключенннаго въ ней духа; наоборотъ, только отправляясь отъ духа, можно постичь и самый духъ, и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается въ его идеѣ, а не въ произвольныхъ случайностяхъ внѣшней формы.

Романтизмъ—принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства, и поэзіи—въ жизни. Жизнь тамъ, гдѣ человѣкъ, а гдѣ человѣкъ, тамъ и романтизмъ. Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таннственный источникъ романтизма: чувство, любовь есть проявленіе или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ—романтикъ. Исключеніе остается только или за эгоистами, которые, кромѣ себя, никого либить не могутъ, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатіи и антипатіи задавлено и заглушено или нравственною неразвитостью, или матеріальными нуждами бѣдной и грубой жизни. Вотъ самое первое естественное понятіе о романтизмѣ.

Законы сердца, какъ и законы разума, всегда одни и тѣ же, и потому человъкъ, по натуръ своей, всегда былъ, есть и будетъ одинъ и тотъ же. Но какъ разумъ, такъ и сердце живутъ, а жить значить развиваться, двигаться впередъ: поэтому человъкъ не можетъ одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образъ чувствованія и мышленія изм'вняется сообразно возрастамъ его жизни: юноша иначе понимаетъ предметы и иначе чувствуетъ, нежели отрокъ; возмужалый человъкъ много разнится, въ этомъ отношении, отъ юноши, старецъ отъ мужа, хотя всв они чувствують однимъ и темъ же сердцемъ, мыслятъ однимъ и тъмъ же разумомъ. Это различіе въ характеръ чувства и мысли вытекаеть изъ природы человъка и существуеть для каждаго: оно связано съ его неизбъжнымъ свойствомъ рости, мужать и старъться физически. Но человъкъ имъетъ не одно только значение существа индивидуальнаго и личнаго. Кромъ того, онъ еще членъ общества, гражданинъ своей земли, принадлежитъ къ великому семейству человъческаго рода. Поэтому онъ сынъ времени и воспитанникъ исторіи: его образъ чувствованія и

мышленія видоизм'єняется сообразно съ общественностью и національностью, къ которымь онъ принадлежить, съ историческимъ состояніемъ его отечества и всего челов'єческаго рода. Итакъ, чтобъ в'єрн'є опреділить значеніе романтизма, мы должны указать на его историческое развитіе. Романтизмъ не принадлежить исключительно одной только сфер'є любви: любовь есть только одно изъ существенныхъ проявленій романтизма. Сфера его, какъ мы сказали,—вся внутренняя, задушевная жизнь челов'єка, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются вс'є неопред'єленныя стремленія кълучшему и возвышенному, стараясь находить себ'є удовлетвореніе въидеалахъ, творимыхъ фантазіею. Зд'єсь, для прим'єра, укажемъ только на то, какъ проявлялась любовь, по преимуществу романтическое чувство,—въ историческомъ движеніи челов'єчества.

Востокъ—колыбель челов'єчества и царство природы. Челов'єкъ на Восток'є—сынъ природы: младенцемъ лежитъ онъ на груди ея, и старцемъ умираетъ на ея же груди. Востокъ и теперь остался в'єренъ основному закону своей жизни—естественности, близкой къживотности. Любовь на Восток'є навсегда осталась въ первомъ момент'є своего проявленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаеть не бол'єе, какъ чувственное, на природ'є основанное, стрем-

животности. Люоовь на Бостокъ навсегда осталась въ первомъ моментъ своего проявленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаеть не болъе, какъ чувственное, на природъ основанное, стремленіе одного пола къ другому. Само собою разумъется, что первый и основной смыслъ любви заключается въ заботливости природы и поддержаніи и размноженіи рода человъческаго. Но если бъ, въ любви людей, все ограничивалось только этимъ расчетомъ природы, — люди не были бы выше животныхъ. Слъдственно, это чувственное стремленіе въ любви человъка одного пола къ человъку другого пола есть только одинъ изъ элементовъ чувства любви, его первый моментъ, за которымъ, въ развитіи, слъдують высшіе, болъе духовные и нравственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первомъ моментъ любви, и въ немъ найти полное осуществленіе этого чувства. Отсюда вытекаетъ с емействен но стъ, какъ главный и основный элементъ жизни восточныхъ народовъ. Имъть потомство—первая забота и высочайшее блаженствс восточнаго жителя; не имъть дътей—это для него знаменіе небеснаго проклятія, нравственнаго отверженія. По закону іудейскому, безплодныя женщины были побиваемы каменьями, какъ преступницы. Отцы тамъ женили сыновей своихъ еще отроками; братъ долженъ былъ жениться на вдовъ своего брата, чтобы "возстановить съмя своему брату". Отсюда же выходитъ и восточная полигамія (многоженство). Гаремы существовали на Востокъ всегда, и ихъ нельзя

считать исключительно принадлежащими исламизму. Обитатель Востока смотрить на женщину, какъ на жену или какъ на рабыню, но не какъ на женщину: потому что отъ женщины мужчина всегда добивается взаимности, какъ необходимаго условія счасливой любви,— отъ жены или рабы онъ требуетъ только покорности. Для него— это вещь, очень искусно приноровленная самою природою для его наслажденія: кто же станетъ церемониться съ вещью? Миоы—самое върное свидътельство романтической жизни народовъ. Въ миоахъ Востока мы не находимъ еще ни идеала красоты, ни пдеала женщины. Всъ миоы его по преимуществу выражають одно неутолимое вождельніе—одно чувство: сладострастіе,—одну идею: въчную производительность природы.

Гораздо выше романтизмъ греческій. Въ Греціи любовь является уже въ высшемъ моментъ своего развитія; тамъ она—чувственное стремленіе, просвътленное и одухотворенное идеею красоты. Тамъ уже въ самомъ началъ миоическаго сознанія, за явленіемъ Эроса (любви, какъ общей сущности міровой жизни) тотчась сл'єдуеть рожденіе. Афродиты—красоты женской. Афродита собственно была не морскихъ и вышла на берегъ, къ ней сейчасъ присоединились любовь и желаніе. Этотъ граціозный миоъ достаточно объясняетъ собою сущность и характеръ эллинскаго понятія объ отношеніяхъ обоихъ половъ. Грекъ обожаль въ женщинъ красоту, а красота уже порождала любовь и желаніе; слъдовательно, любовь и желаніе были уже результатомъ красоты. Отсюда понятно, какъ у такого нравственностетическаго народа, какъ греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная миосмъ Ганимеда, —могла существовать не какъ крайній разврать чувственности (единственное условіе, подъ которымъ она могла бы являться въ наше время), а какъ выраженіе жизни сердца. Примъры такой любви были очень неръдки у грековъ. Вотъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ. Навзаній говорить, что онъ нашель въ одномъ мъсть статую юноши, названную амтэросъ (взаимная любовь), и разсказываеть услышанную имъ отъ жителей того мъста легенду о происхождении этой статуи. Одинъ юноша, тронутый необыкновенною красотою другого, почувствовалъ къ нему неопреодолимо страстное стремленіе. Встрътивъ въ отвъть на свое чувство совершенную холодность и напрасно истощивъ мольбы и стоны къ ея побъжденію, онъ бросился въ море и погибъ въ немъ. Тогда прекрасный юноша, вдругъ проникнутый и пораженный силою возбужденной имъ страсти, почувствовалъ къ

погибшему такое сожальніе и такую тюбовь, что и самъ добровольно погибъ въ воднахъ того же моря. Въ честь обоихъ погибшихъ

ногибшему такое сожальніе и такую тюбовь, что и самъ добровольно погибь въ волнахъ того же моря. Въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя—антэросъ.

У грековъ была не одна Вепера, но три: Уранія (пебесная), Пандемосъ (обыкновенная) и Анострофія (предохраняющая или отвращающая). Значеніе первой и второй понятно безъ объясненій: значеніе третьей было—предохранять и отвращать людей отъ гибельныхъ злоупотребленій чувственности. Изъ этого видно, что правственное чуветво всегда лежало въ самой основѣ напіональнаго элипскаго духа. Однакожъ это писколько не противорфинть тому, что преобладающій элементь ихъ любви было неукротимое, страстное стремленіе, требовавшее или удовлетворенія, или гибели. Поэтому опи смотрѣли на Эрота, какъ на бога страшнаго и жестокаго, для которато было какъ бы забавою губить людей. Множество тратическихъ легендъ любви, у грековъ, вполнѣ оправдываеть такой взглядъ на Эрота—это маленькое крылатое божество съ коварною улыбкою на младенческомъ лицѣ, съ гибельнымъ лукомъ въ рукѣ и страшнымъ колчайомъ за плечами. Кому не извѣстно преданіе о любви Сафо къ Фаону и о какть левкадской? А сколько легендъ о страстной любви между братьями и сестрами, любви, которая оканчшвалась или смеркъю безъ удовлетворенія! Овидій передаль понометву ужасную легенду о такой любви дочери къ отцу. Старая няня несодозрѣвавшаго истины,—и сперва Эвмениды, а потомъ превращеніе было наказаніечь боговъ, постигшную несчастную. Но столько граціи и гуманности въ греческой любви, когда она увѣнчивалась законною взаимственостію! Не даромъ, въ пролестномъ меѣ Эрота и Исихеи, греки выразили поэтическую мысль брачнаго сетатья, любь в съ д уш о ю! Навзаній разсказываеть о статуь сты дли в ости трогательную, псполненную души и граціи романтическую легенду. Статуя эта избражала дѣвушку, которой преклоченная голова была накрыта покрывалочъ, Воть емысль этой статуи: когда Одиссей, женившись на Пенелопъ, ръшился возвратиться вът Лякеемона въ Итаку, Икаръ, престаръный парь, тесть его ногамъ постаться уже столек быль выберать между

безмолвнаго и граціозно-женственнаго отвіта поняль, что мужь для нея дороже отца, хотя страхъ и нежеланіе оскорбить чувство родительской любви и сковали уста ея... Это романтизмъ! Въ ученіи вдохновеннаго философа, божественнаго Платона, греческое созерцаніе любви возвышается до небеснаго просвітлівнія, такъ что ничего не оставляеть, въ поб'єду надъ собою, среднимъ вікамъ, этой ультраромантической эпохъ...

«Наслажденіе красотою (говоритъ этотъ величайшій романтикъ не только древней Греціи, но и всего міра) въ этомъ мір'в возможно въ челов'вк' только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себъ въ первоначальной ея родинъ. Вотъ почему эрълище прекраснаго на земль, какъ воспоминание о красоть горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты... Красота была свътлаго вида въ то время, когда мы счаст-ливымъ хоромъ слъдовали за Діемъ, въ блаженномъ видъніи и созерцаніи; другіе же за другими богами; мы зръли и со-вершали блаженнъйшее изъ всъхъ таинствъ; пріобщались ему всецълые, непричастные бъдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посътили; погружались въ видънія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и соверцали ихъ въ свътъ чистомъ, сами будучи чисты и незапятваны тъмъ, что мы, нынъ влача съ собою, называемъ тъломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину... Красота одна получила этотъ жребій: быть пресв'ятлою и достойною любви. Не вполн'я посвященный, развратный стремится къ самой красотъ, не взирая на то, что носить ея имя; онъ не благоговъетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ теломъ .. Напротивъ того, вновь посвященный, увидъвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и если бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...»

Нельзя не согласиться, что никогда романтизмъ не являлся въ такомъ лучезарномъ и чистомъ свътъ своей духовной сущности, какъ въ этихъ словахъ величайшаго изъ мудрецовъ классической древности...

Но все это показываеть только глубокость эллинскаго духа, часто въ созерцаніяхъ своихъ опережавшаго самого себя, и не только не противоръчить, но еще подтверждаеть истину, что павосъ къ красоть составляль высшую сторону жизни грековъ. А богиня красоты, —какъ мы уже замътили выше, —сопровождалась у нихъ любовью и желаніемъ.. Чувство красоты, какъ только красоты, а не красоты и души вмъсть, не есть еще высшее проявленіе романтизма. Женщина существовала для грека въ той только мъръ, въ какой была она прекрасна, и ся назначеніе было удовлетворять чувству

изящнаго сладострастія. Самая стыдливость ея служила къ усиленію страстнаго упоенія мужчины. Елена "Иліады"—представительница греческой женщины: и боги и смертные иногда называють ее безстыдною и презрѣнною, но ей покравительствуеть сама Киприда и собственною рукою возводить ее на ложе Александра-боговиднаго, нозорно бѣжавшаго съ поля битвы; за нее сражаются и цари, и народы, гибнеть Троя, пылаеть Иліонъ—священная обитель царственнаго старца Пріама... Въ пьесахъ, такъ превосходно переведенныхъ Батюшковымъ изъ греческой антологіи, можно видѣть характеръ отношеній любящихся, какъ, напримѣръ, въ этой эпиграммѣ:

Свершилось: Никагоръ и пламенный Эротъ За чашей вакховой Аглаю побъдили.. О радосты! эдъсь они сей поясъ разръшили, Стыдливости дъвической оплотъ. Вы видите: кругомъ разсъяны небрежно Одежды пышныя надменной красоты, Покровы легкіе изъ дымки бълоснъжной, И обувь стройная, и свъжіе цвъты: Здъсь все развалины роскошнаго убора, Свидътели любви и счастъя Никагора!

Въ этой пьескъ схвачена вся сущность романтизма по греческому воззрънію: это—изящное, проникнутое грацією наслажденіе. Здъсь женщина—только красота, и больше ничего; здъсь любовь—минута поэтическаго, страстнаго упоенія и больше ничего. Страсть насытилась—и сердце летить къ новымъ предметамъ красоты. Грекъ обожалъ красоту, и всякая прекрасная женщина имъла право на его обожаніе. Грекъ былъ въренъ красотъ и женщинъ, но не этой красотъ, или этой женщинъ. Когда женщина лишалась блеска своей красоты, она теряла вмъстъ съ нимъ и сердце любившаго ее. И если грекъ цънилъ ее въ осень дней ся, то все же оставаясь върнымъ своему воззрънію на любовь, какъ на изящное наслажденіе:

Теб'в ль оплакивать утрату юныхъ дней?

Ты въ красотъ не измънилась,
И для любви моей
Отъ времени еще прелестнъе явилась.
Твой другъ не дорожить неопытной красой,
Незрълой въ таинствахъ любовнаго искусства:
Безъ жизни взоръ ея стыдливой и нъмой,
И робкій поцълуй безъ чувства

Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень;
И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень,
Текущій съ жизнію въ крови...

Сколько страсти и задушевной граціи въ этой эпиграммъ!

Въ Лаисъ нравится улыбка на устахъ, Ея плънительны для сердца разговоры; Но мив мильй ея потупленные взоры И слезы горести внезапной на очахъ. Я въ сумерки, вчера, одушевленный страстью, У ногъ ея любви всв клятвы повторялъ, И съ поцълуемъ, къ сладострастью На ложе роскопи тихонько увлекалъ... Я таялъ, и Лаиса млъла... Но вдругъ уныла, поблъднъла, И слезы градомъ изъ очей! Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей: «что сдълалось, скажи, что сдълалось съ тобою?»—Спокойна, ничего, безсмертными клянусь! Я мыслію была встревожена одною; Вы всъ обманчивы, и я.. тебя страшусь.—

Романтическая лира Эллады умѣла воспѣвать не одно только счастье любви, какъ страстное и изящное наслажденіе, и не одну муку нераздѣльной страсти: она умѣла плакать еще и надъ урною милаго праха, и элегія,—этотъ ультра-романтическій родъ поэзіи,—былъ созданъ ею же, свѣтлою музою Эллады. Когда отъ страстнаго любящаго сердца смерть отнимала предметъ любви прежде, чѣмъ жизнь отнимала любовь,—грекъ умѣлъ любить скорбною памятью сердца:

Въ обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слезъ,
И вопль отчаянья надъ хладною могилой,
И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ.
Ахъ тщетно все! изъ въчной съни
Ничъмъ не призовемъ твоей прискорбной тъни:
Добычу не отдастъ завистливый Аидъ.
Здъсь онъмъніе; все хладно здъсь молчитъ
Нагробный факелъ мой лишь мраки освъщаетъ...
Что, что вы сдълали, властители небесъ?
Скажите, что краса такъ рано погибаетъ?
Но ты, о мать-земля! съ сей данью горькихъ слезъ,
Прими почившую, поблекшій цвътъ весеній,
Прими, и успокой въ гостепріимной съни!

Но прим'вры романтизма греческаго не въ одной только сфер'в любви. "Илліада" ус'вяна ими. Всномните Ахиллеса,

Въ сердцѣ питавшаго скорбь о красно-опоясанной дѣвѣ, Силой Атрида отъятой.

Когда уводять отъ него Бризенду, страшный силою и могуществомъ герой—

> Бросилъ друзей Ахиллесъ, и далеко отъ всѣхъ одинокій, Сѣлъ у пучины сѣдой и, взирая на Понтъ темноводный, Руки въ слезахъ простиралъ, умоляя любезную матерь...

Эта сила, эта мощь, которая скорбить и плачеть о нанесенной сердцу рань, вмысто того, чтобъ страшно мстить за нее,—что же это такое, если не романтизмъ? А тынь несчастливца Патрокла, явившаяся Ахиллу во сны?

Только Пелидъ на брегу неумолкно-шумящаго моря Тяжко стенящій лежалъ, окруженный толпой Мирмидонянъ, Ницъ на полянъ, гдъ волны лишь шумныя билися въ берегъ, Тамъ надъ Пелидомъ сонъ, сердечныхъ тревогъ укротитель, Сладкій разлился: герой истомилъ благородные члены, Гектора быстро гоня предъ высокой стъной Иліона. Тамъ Ахиллесу явилась душа несчастливца Патрокла, Привракъ, величіемъ съ нимъ и очами прекрасными сходный; Тажъ и одежда, и голосъ тотъ самый, сердиу знакомый...

Тънь Патрокла умоляетъ Ахилла о погребеніи и отомъ еще, когда прійдетъ часъ Ахилла, то чтобъ кости ихъ покоились въ одной урнъ... Ахиллъ отвъчаетъ возлюбленной тъни радостною готовностію совершить ея "завъты кръпкіе" и молитъ ее приблизиться къ нему для дружнаго объятія...

Рекъ, и жадныя руки любимца обнять распростеръ онъ; Тщетно: душа Менетида, какъ облако дыма, сквозь землю Съ воемъ ушла. И вскочилъ Ахиллъ, пораженный видъньемъ, И руками всплеенулъ, и печальный такъ говорилъ онъ: «Боги! такъ подлинно есть и въ аидовомъ домѣ подземномъ — Пухъ челорътка и образът но онъ совершенно безплотицай!

- «Духъ человѣка и образъ, но онъ совершенно безплотный! «Цѣлую ночь, я видѣлъ, душа несчастливца Патрокла
- «Все надо мною стояла, стенающій, плачущій призракъ; «Все мнъ завъты твердила, ему совершенно подобясь!»

Это ли не романтизмъ?

А старецъ Пріамъ, лобызающій руки убійцы дітей своихъ и умоляющій его о выкупь Гекторова тьла?

Старецъ, никъмъ непримъченный, входитъ въ покой и, Пелиду Въ ноги упавъ, обымаетъ колъна и руки цълуетъ, Страшныя руки, дътей у него погубившія многихъ..

- «Вспомни отца своего, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный,
- ч тарца такого жъ, какъ я на порогъ старости скорбной!
- «Можетъ быть, въ самый сей мигъ, и его окруживши, сосъди
- «Ратью тъснятъ, и некому старца отъ горя избавить... «Но по крайней онъ мъръ, что живъ ты, и зная и слыша,
- «по по краинеи онъ мъръ, что живъ ты, и зная и слыша «Сердце тобой веселитъ, и вседневно льстится надеждой
- «Милаго сына узръть, возвратившагось въ домъ изъ подъ Трои
- «Я же, несчастивний смертный, сыновъ возрастиль брано-
- «Въ Троъ святой, и изъ нихъ ни единаго мнѣ не осталось!
- «Я пятьдесять ихъ имъль при нашествіп ратп ахейской;
- «Ихъ девятнадцать братьевъ отъ матери было единой; «Прочихъ родили другія любезныя жены въ чертогахъ:
- «Многимъ Арей истребитель сломилъ имъ несчастнымъ кольна,
- «Сынъ остался одинъ, защищалъ онъ и градъ нашъ, и гражданъ, «Ты умертвилъ и его, за отчизну сражавшагось храбро,
- «Гектора! Я для него прихожу къ короблямъ мирмидонскимъ;
- «Выкупить тъло его, приношу драгодънный я выкупъ.
- «Храбрый почти ты боговъ, надъ моимъ злополучіемъ сжалься, «Вспомнивъ Пелея родителя! я еще болѣе жалокъ!
- «Я испытую, чего на землъ не испытывалъ смертный:
- «Мужи, убійцы дътей моихъ, руки къ устамъ прижимаю!»

Такъ говоря, возбудилъ объ отцѣ въ немъ печальныя думы За руку старца онъ взявъ, отъ себя отклонилъ его тихо. Оба они вспоминая: Пріамъ знаменитаго сына, Горестно плакалъ, у ногъ Ахиллесовыхъ въ прахѣ простертый; Царь Ахиллесъ, то отца вспоминая, то друга Патрокла, Плакалъ—и горестный стонъ ихъ кругомъ раздавался по дому.

Заключимъ наши указанія на романтизмъ греческій прекрасною эпиграммою, переведенною Батюшковымъ же изъ греческой антологін; она называется—"Яворъ къ Прохожему":

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется! Какъ любитъ мой полуистлъвшій пень! Я нѣкогда ему даваль отрадну тѣнь; Завялъ: но виноградъ со мной не разстается. Зевеса умоли, Прохожій, если ты для дружества способенъ, Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подобенъ, И пепелъ твой любилъ оставшись на земли...

Въ основъ всякаго романтизма непремънно лежитъ мистицизмъ, болъе или менъе мрачный. Это объясняется тъмъ, что преобладающій элементь романтизма есть вічное и неопреділенное стремленіе, не уничтожаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Источникъ романтизма, --- какъ мы уже замътили выше, --- есть таинственная внутренность груди, мистическая сущность быющагося кровыю сердца. Поэтому, у грековъ всѣ божества любви и ненависти, симпатіи и антипатін были божества подземныя, титаническія, дъти Урана (неба) и Геи (земли), а Уранъ и Гея были дъти Хаоса. Титаны долго оспаривали могущество боговъ олимпійскихъ, и хотя громами Зевеса они были низринуты въ тартаръ, но одинъ изъ нихъ-Прометей предсказалъ паденіе самого Зевеса. Этотъ миоъ о вічной борьбі титаническихъ силъ съ небесными глубоко знаменателенъ: ибо онъ означаеть борьбу естественныхъ, сердечныхъ стремленій человака съ его разумнымъ сознаніемъ, и хотя это разумное сознаніе, наконецъ, восторжествовало въ образъ олимпійскихъ боговъ надъ титаническими силами естественныхъ и сердечныхъ стремленій, --- но оно не могло уничтожить ихъ, ибо титаны были безсмертны подобно олимпійцамъ; —Зевесъ только могъ заключить ихъ въ подземное царство въчной ночи, оковавъ цъпями, но и оттуда они успъли же наконецъ потрясти его могущество. Глубоко знаменательная мысль лежить въ основъ Софокловой "Антигоны". Героиня этой трагедіи падаетъ жертвою любви своей къ брату, враждебно столкнувшейся съ закономъ гражданскимъ: ибо она хотвла погребсти съ честію твло своего брата, въ которомъ представитель государства видёлъ врага отечества и общественнаго спокойствія. Эта страшная борьба романтическаго элемента съ элементами религіозными, государственными и мыслительными, — борьба, въ которой заключается главный источникъ страданій бъднаго человъчества, кончится тогда только, когда свободно примирятся божества титаническія съ божествами олимпійскими. Тогда настанеть новый золотой въкъ, который столько же будетъвыше перваго, сколько состояніе разумнаго сознанія выше состоянія естественной, животной непосредственности. Самый мистическій, слъдственно, самый романтическій поэтъ Греціи былъ Гезіодъ—одинъ изъ первоначальныхъ поэтовъ Эллады; и потомъ самый романтическій поэтъ Греціи былъ трагикъ Эврипидъ—одинъ изъ послъднихъ ея поэтовъ.

Впрочемъ, романтизмъ не былъ преобладающимъ элементомъ въ жизни грековъ: онъ даже подчинялся у нихъ другому, болѣе преобладающему элементу—общественной и гражданской жизни. Поэтому романтизмъ греческій всегда ограничивался и уравновѣпивался другими сторонами эллинскаго духа и не могъ доходить до крайностей нельпаго. Изъ миоовъ Тантала и Сизифа видно, какъ чуждо было духу греческому остановиться на идеѣ неопредѣленнаго стремленія. Танталъ мучится въ подземномъ мірѣ безконечно ненасытимою жаждою; Сизифъ долженъ безпрестанно падающій тяжкій камень поднимать снова; эти наказанія, такъ же какъ и самыя титаническія силы, имѣютъ въ себѣ что-то безмѣрное, тяжкобезконечное; въ нихъ выражается ненасытимость внутренне-личнаго естественнаго вождельнія, которое въ своемъ безпрерывномъ повтореніи не достигаетъ до спокойствія удовлетворенія: ибо божественный смыслъ Грековъ понималъ пребываніе въ неопредѣленномъ стремленіи не какъ высочайшее божество, въ смыслѣ новъйшей романтики, но какъ проклятіе, и заключилъ его въ тартаръ.

Не такимъ является романтизмъ въ средніе вѣка. Хотя роиантизмъ есть общее духу человѣческому явленіе, во всѣ времена и
для всѣхъ народовъ присущее, но онъ считается какою-то исключительною принадлежностію среднихъ вѣковъ и даже носитъ на себѣ
имя народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль
въ эту великую и мрачную эпоху человѣчества. И это произошло
не отъ ошибки, не отъ заблужденія: средніе вѣка—дѣйствительно
романтическіе по превосходству. Въ Греціи, какъ мы видѣли, романтизмъ былъ силою мрачною, всегда движущеюся, вѣчно борющеюся съ богами Олимпа и вѣчно держащею ихъ въ страхѣ; но
эта сила всегда была побѣждаема высшею силою олимпійскихъ божествъ: въ средніе вѣка, напротивъ, романтизмъ составлялъ безпри-

мърную, самобытную силу, которая, не будучи ничъмъ ограничива-ема, дошла до послъднихъ крайностей противоръчія и безсмыслицы. Этимъ страннымъ міромъ среднихъ въковъ управлялъ не разумъ, а сердце и фантазія. Казалось, что міръ снова сдълался добычею разнузданныхъ элементарныхъ силъ природы: сорвавшіеся съ ціпей титаны снова ринулись изъ тартара и овладъли землею и небомъ,и надъ всъмъ этимъ снова распростерлось мрачное царство хаоса... Всего удивительнъе, что это движение совершалось въ противоръчи съ своимъ сознаніемъ. Олимпійскія силы, у грековъ, выражали общее и безусловное, а титаническія были представителями индивидуальнаго, личнаго начала. Въ средне въка всъ начала назывались чужимы, противоположными имъ именами. Движеніе ихъ было чисто сердечное и страстное, а совершалось оно не во имя сердца и страсти, а во имя духа; движение это развило до последней крайности значение человеческой личности: совершалось же оно не во имя личности, а во имя самой общей, безусловной и отвлеченной иден, для выраженія которой не доставало словъ-ихъ замъняли символы и условныя формы. Въ этомъ странномъ міръ безуміе было высшею мудростію, а мудрость—буйствомъ; смерть была жизнію, а жизнь—смертью, и міръ распался на два міра—на презираемое здъсь и неопредъленное таинственное тамъ. Все жило и дышало чувствомъ безъ дъйствительности, порываніемъ безъ достиженія, стремленіемъ безъ удовлетворенія, надеждою безъ совершенія, желаніемъ безъ выполненія, страстною, безпокойною д'ятельностію безъ ц'яли и результата. Хот'яли чувствовать для того только, чтобъ чувствовать, стремиться для того только, чтобъ стремиться, желать— чтобъ желать, а дъйствовать—чтобъ не быть въ покоъ. На тъло емотръли не какъ на проявление и орудие духа, а какъ на вериги и темницу духа, не раздъляли миънія древнихъ, что только въздоровомъ тълъ можетъ обитать и здоровая душа, но, напротивъ, были убъждены, что только изможденное и устаръвшее до времени тъло могло быть одарено ясновидьніемъ истины... Чудовищныя противоръчія во всемъ! Дикій фанатизмъ шелъ объ руки съ святотатствомъ; злодъйство и преступление смънялись покаяниемъ, крайность котораго, казалось, превосходила силы духа человъческаго; набожность и кощунство дружно жили въ одной и той же душв. Понятіе о чести сдълалось краеугольнымъ камнемъ общественнаго зданія; но честь полагали въ формъ, а не въ сущности: рыцарь, не явившійся на вызовъ смерти, видълъ честь свою погибшею; но, выходя на большія дороги грабить купеческіе обозы, онъ не боядся увидёть опо-

зореннымъ гербъ свой... Любовь къ женщинъ была воздухомъ, которымъ люди дышали въ то время. Женщина была царицею этого романтическаго міра. За одинъ взглядъ ея, за одно ея слово—умереть казалось слишкомъ ничтожною жертвою, побъдить одному тысячи—слишкомъ легкимъ дъломъ. Проъхать десятки верстъ, на досячи—слишкомъ легкимъ дѣломъ. Проѣхать десятки верстъ, на дорогѣ помять бока и поломать свои кости въ поединкѣ, въ проливной дождь и бурю простоять подъ окномъ "обажаемой дѣвы", чтобъ только увидѣть въ окнѣ промелькнувшую тѣнь ся—казалось высочайшимъ блаженствомъ. Доказать, что "дама его сердца" прекраснѣе и добродѣтельнѣе всѣхъ женщинъ въ мірѣ, доказать это людямъ, которые никогда не видѣли его дамы, и доказать имъ это силою руки, гибкостію тѣла, лезвіемъ меча и остріемъ пики—казалось для рыцаря священнымъ дѣломъ. Онъ смотрѣлъ на свою даму, какъ на существо безплотное; чувственное стремленіе къ ней онъ почелъ бы профанаціею стрѣхомъ; она была для него идеаломъ и мысль о ней профанацією, грѣхомъ: она была для него идеаломъ, и мысль о ней давала ему и храбрость, и силу. Онъ призывалъ ея имя въ битвахъ; онъ умиралъ съ ея именемъ на устахъ. Онъ былъ ей въренъ всю жизнь—и, еслибъ для этой върности у него не хватило любви въ сердцъ, онъ легко замънилъ бы ее аффектацією. И это страстнодуховное, это трепетно-благоговъйное обожаніе избранной "дамы сердца" нисколько не мъшало жениться на другой или быть въ самой гръховной связи съ десятками другихъ женщинъ,—не мъшало самому ховнои связи съ десятками другихъ женщинъ,—не мъшало самому грубому, циническому разврату. То идеалъ, а то дъйствительность; зачъмъ же имъ было мъшать другъ другу?.. Надо отдать въ одномъ справедливость среднимъ въкамъ; они обожали красоту, какъ и греки; но въ свое понятіе о красотъ внесли духовный элементъ. Греки понимали красоту только какъ красоту, строго правильную, съ изящными формами, оживленными грацією; красота среднихъ въковъ была красотою не одной формы, но и какъ чувственное выраженіе нравкрасотою не одной формы, но и какъ чувственное выраженіе нравственнныхъ качествъ, красота болье духовная, чьмъ тълесная, красота, для художественнаго возсозданія которой скульптура была уже слишкомъ бъднымъ искусствомъ, и которую могла воспроизводить только живопись. Для грековъ красота существовала въ цъломъ, и потому ихъ статуи были нагія или полунагія; красота среднихъ въковъ вся была сосредоточена въ выраженіи лица и глазъ. Нельзя не согласиться, что понятіе среднихъ въковъ о красотъ болье романтическое и болье глубокое, чъмъ понятіе древнихъ. Но средніе въка и тутъ не умъли не исказить дъла крайностію и преувеличеніемъ: они слишкомъ любили туманную нео предъленность выраженія въ лиць женщины, и въ ихъ картинахъ он а является какъ будто

совствить безъ формъ, совствить безъ тела, какъ будтоттивью, призракомъ какимъ-то. Въ понятін о блаженствъ любви средніе въка были діаметрально противоположны грекамъ. Вступить въ любовную связь съ дамою сердца-значило бы тогда осквернить свои святьйшія и задушевнъйшія върованія; вступить съ нею въ бракъ-унизить ее до простой женщины, увидьть въ ней существо земное и тълесное... Ла соединение съ любимою женщиною и не казалось тогда какоюто необходимостію. Любили для того, чтобъ любить, и мистика серлечныхъ движеній отъ мысли любить и быть любимымъ-была самымъ полнымъ удовлетвореніемъ любви и наградою за любовь. Если бъ конюхъ влюбился въ дочь гордаго барона, его ожидало бы неземное счастіе, небесное блаженство; онъ даже не захотълъ бы и знать, любять ли его: для него достаточно было сознанія, что онъ любитъ. Вотъ ужъ подлинно счастіе, котораго не могла лишить судьба, сокровище, котораго никто не могъ похитить!.. И хорошо дълали тъ, которые ограничивались платоническимъ обожаніемъ молча, съ фантазіями про себя: бракъ всегда бывалъ гробомъ любви и счастья. Бъдная дъвушка, сдълавшись женою, промънивала свою корону и свой скипетръ на оковы, изъ царицы становилась рабою, и въ своемъ мужь, дотоль преданныйшемь рабь ея прихотей, находила деспотическаго властелина и грознаго судью. Безусловная покорность его грубой и дикой воль дълалась ея долгомъ, безропотное рабствоея добродьтелью, а терпъніе-единственною опорою въжизни. Пьяный и бъщеный, онъ мстилъ ей за дурное расположение своего духа, онъ могъ бить ее, равно какъ и свою собаку, въ сердцахъ на дурную погоду, мъшавшую ему охотиться. При мальйшемъ подозръніи въ невърности, онъ могъ ее заръзать, удавить, сжечь, зарыть живую въ землю, — и увы! — такія исторіи не были въ средніе вѣка слишкомъ редкими или исключительными событіями! И вотъ онацарица общества и повелительница храбрыхъ и сильныхъ! И вотъ онъ-чудовищный и нельный романтизмъ среднихъ выковъ, столь поэтическій, какъ стремленіе, и столь отвратительный, какъ осуществленіе, на дълъ! Но довольно о немъ. Съ нимъ всъ болъе или менъе знакомы, ибо о немъ даже и по-русски писано много. Но мы еще возвратимся къ нему, говоря о поэзін Жуковскаго.

Романтизмъ среднихъ въковъ не умиралъ и не исчезалъ: напротивъ, онъ царитъ еще надъ современнымъ намъ обществомъ, но уже измънившійся и выродившійся; а будущее готовитъ ему еще большее измъненіе. Что же убило его въ томъ видъ, въ какомъ существовалъ онъ въ средніе въка?—Свътъ просвъщенія, разогнавній

въ Европъ мракъ невъжества,—успъхи цивилизаціи, открытіе Америки, изобрътеніе книгопечатанія и пороха, римское право, и вообще изученіе классической древности. Странное дъло! Въ Греціи романтизмъ разрушилъ свътлый міръ олимпійскихъ боговъ: ибо что же были ученія и таинства элевзинскія, какъ не романтизмъ глубоко-иысленный и мистическій? Туманныя, неопредъленныя предчувствія высшей духовной сущности, пробудившіяся въ душѣ грековъ, находились въ явной противоположности съ ръзко опредъленнымъ, яснымъ, но въ то же время и вившимъ міромъ олимпійскихъ боговъ. А такъ какъ сами боги эти лишь по отцу исходили отъ духа, по матери же, исключая Аполлона и Артемиды—рождены были изъ нъдръ земли, божества довременно-титаническаго, то и духъ эллиновъ, не удовлетворяясь олимпійцами, обратился къ подземнымъ титаническимъ силамъ, которыя такъ симпатически гармонировали съ міромъ его задушевной жизни, съ его сердцемъ. Нъкогда попранное могущество древнихъ титаническихъ боговъ возставало теперь преображенное, пріявшее въ себя всю жизнь души, не удовлетворявшейся видимымъ. Это была та же древняя элементарная природа, но уже пришедшая въ гармонію, проникнутая высшею духовностію, не гибельная и пожирающая, но дружественная человъку, сосредоточенная въ кроткихъ мистическихъ образахъ Цереры и Вакха, которые въ элевзинскихъ мистеріяхъ являлись уже божествами подземнаго таинственными и всеобъемлющими. Подъ вліяніемъ элевзинскихъ таинственными и всеоовемлющими. Подв влинемы элеваннемих таинствъ развилась поэзія Эсхила, столь враждебная Зевсу, и поэзія Эврипида,—развилась вся философія Греціи, и въ особенности философія величайшаго изъ романтиковъ—Платона. Слъдовательно, въ Греціи романтизмъ, какъ выраженіе подземныхъ титаническихъ силъ, игралъ роль демона, подкопавшаго царство Зевеса. Въ новомъ же мірь, романтизмъ сталъ представителемъ царства титаническаго, мрачнаго парства страданій и скорби, ничемь неутолимымь порывомь сердца; а разрушителемъ этого ремантизма, демономъ сомнънія и отрицанія—явилось царство Зевеса, т.е. царство свътлаго и свободнаго разума. Та же исторія, только совершенно наобороть! Всьмъ извъстно, какіе страшные удары нанесены были среднимъ въкамъ демономъ ироніи! Какое страшное, въ этомъ отношеніи, произведеніе "Донъ-Кихотъ" Сервантеса! -Реформатское движеніе было явнымъ убійствомъ среднихъ вѣковъ. XVIII вѣкъ дорѣзалъ его радикально. Этотъ умнъйшій и величайшій изъ всьхъ вьковъ быль особенно страшенъ для среднихъ въковъ...

Вслъдствіе страшныхъ потрясеній и ударовъ, нанесенныхъ ро-

мантизму XVIII-мъ въкомъ, романтизмъ явился въ наше время совершенно перерожденнымъ и преображеннымъ. Романтизмъ нашего времени есть сынъ романтизма среднихъ въковъ, но онъ же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнье, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецелость романтизма всехъ вековъ и всехъ фазисовъ развитія человъческаго рода: въ нашемъ романтизмъ, какъ лучи солнца въ фокусъ зажигательнаго стекла, сосредоточились всъ моменты романтизма, развивавшагося въ исторіи человічества, и образовали совершенно новое цълое. Общество все еще держится принципами стараго, средневъковаго романтизма, обратившагося уже въ пустыя формы за отсутствіемъ умершаго содержанія; но люди, им'ьющіе правоназываться "солью земли", уже силятся осуществить идеаль новаго романтизма. Наше время есть эпоха гармонического уравновъшенія всъхъ сторонъ человъческаго духа. Стороны духа человъческаго неисчислимы въ ихъ разнообразін; но главныхъ сторонъ только двъ: сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца, словомъ, романтика, --- и сторона сознающаго себя разума, сторона общаго, разумъя подъ этимъ словомъ сочетание интересовъ, выходящихъ изъ сферы индивидуальности и личности. Въ гармоніи, т. е. во взаимномъ сопроникновенія одной съ другою этихъ двухъ сторонъ духа, заключается счастіе современнаго человъка. Романтизмъ есть въчная потребность духовной природы человъка: ибо сердце составляетъ основу, коренную почву его существованія, а безъ любви и ненависти, безъ симпатіи и антипатін челов'єкъ есть призракъ. Любовь—поэзія и солнце жизни. Но горе тому, кто, въ наше время, зданіе счастія своего вздумаєть построить на одной только любви, и въ жизни сердца вознадъется найти полное удовлетворение всъмъ своимъ стремлениямъ! Въ наше время это значило бы отказаться оть своего человъческаго достоинства, изъ мужчины сдёлаться—самцомъ! Міръ действительный имъетъ равныя, если еще не большія права на человъка, и въ этомъ мірѣ человѣкъ является прежде всего сыномъ своей страны, гражданиномъ своего отечества, горячо принимающимъ къ сердцу его интересы и ревностно поборающимъ, по мѣрѣ силъ своихъ, его пре-успъванію на пути нравственнаго развитія. Любовь къ человъчеству, понимаемому въ его историческомъ значеніи, должна быть живоносною мыслію, которая просвітляла бы собою любовь его къ родинъ. Историческое созердание должно лежать въ основъ этой любви и служить указателемъ для дъятельности, осуществляющей эту любовь. Знаніе, искусство, гражданская діятельность-все это составляеть для современнаго человъка ту сторону жизни, которая должна быть

только въ живой органической связи съ стороною романтики, или внутренняго задушевнаго міра челов'єка,—но не зам'єняться ею. Если челов'єкъ захочетъ жить только сердцемъ, во имя одной любви, и въ женщинъ найти цъль и весь смыслъ жизни, — онъ непремънно дойдеть до результата самаго противоположнаго любви, т. е. до самаго холоднаго эгоизма, который живетъ только для себя и все относитъ къ себъ. Если, напротивъ, человъкъ, презръвъ жизнію сердца, захотълъ бы весь отдаться интересамъ общимъ, — онъ или не избъжаль бы тайно тоски и чувства внутренней неполноты и пустоты, или, если не почувствоваль бы ихъ, то внесъ бы въ міръ высокой дъятельности сухое и холодное сердце, при которомъ не бываетъ у человъка ни высокихъ помысловъ, ни плодотворной дъятельности. Итакъ, эгоизмъ и ограниченность, или неполнотавъ объихъ этихъ крайностяхъ; очевидно, что только изъ гармоническаго ихъ сопроникновенія одной другою выходить возможность полнаго удовлетворенія, а следственно, и возможность свойственнаго и присущаго душъ человъка счастія, основаннаго не на песчанномъ берегу случайности, а на прочномъ фундаментъ сознанія. Въ этомъ отношеній мы гораздо ближе къ жизни древнихъ, чемъ къ жизни среднихъ въковъ, и гораздо выше тъхъ и другихъ. Ибо, въ нашемъ идеалѣ, общество не угнетаетъ человѣка насчетъ естественныхъ стремленій сего сердца, а сердце не отрываетъ его отъ живой общественной діятельности. Это не значить, чтобъ общество позволяло теперь человъку, между прочимъ, и любиться, но это значитъ что уже нътъ, или, по крайней мъръ, болъе не должно быть борьбы между сердечными стремленіями и общественнымъ устройствомъ, примиренными разумно и свободно. И въ наше время, жизнь и дъятельность въ сферъ общаго есть необходимость не для одного мужчины, но точно также и для женщины: ибо наше время сознало уже, что и женщина такъ же точно человъкъ, какъ и мужчина, и сознало это не въ одной теоріи (какъ это же сознавали и средніе въка), но и въ дъйствительности. Если же мужчинъ позорно быть самцомъ на томъ основаніи, что онъ челов'якъ, а не животное, то и женщинъ позорно быть самкою на томъ основаніи, что оначеловъкъ, а не животное. Ограничить же кругъ ея дъятельности скромностью и невинностью въ состояніи дъвическомъ, спальнею и кухнею въ состояніи замужества (какъ это было въ средніе вѣка) не значить ли это лишить ее правъ человъка, и изъ женщины сдълать самкою? Но, скажуть намъ: женщина-мать, а назначение матери свято и высоко—она воспитательница детей своихъ. Прекрасно!

Но ведь воспитывать не значить только выкармливать и выняньчивать (первое можетъ сдълать корова или коза, а второе нянька), но и дать направление сердцу и уму, -а для этого развъ не нужно, со стороны матери, характера, науки, развитія, доступности ко всёмъ человьческимъ интересамъ?.. Нътъ, міръ знанія, искусства, словомъ, мірь общаго должень быть столько же открыть женщинь, какъ и мужчинъ, на томъ основаніи, что и она, какъ и онъ, прежде всегочеловькъ, а потомъ уже любовница, жена, мать, хозяйка и проч. Вследствіе этого, отношенія обоихъ половъ къ любви и одного къ другому въ любви дълаются совстмъ другими, нежели какими они были прежде. Женщина, которая умъетъ только любить мужа и дътей своихъ, а больше ни о чемъ не имъетъ понятія и больше ни къ чему не стремится, -- такъ же точно смъщна, жалка и недостойна любви мужчины, какъ смъшонъ, жалокъ и не достоинъ любви женщины мужчина, который только на то и способень, чтобъ влюбиться да любить жену и детей своихъ. Такъ какъ истинно человеческая любовь теперь можеть быть основана только на взаимномъ уважении другь въ другь челов в ческаго достоинства, а не на одномъ капризв чувства и не на одной прихоти сердца, то и любовь нашего времени имфетъ уже совсъмъ другой характеръ, нежели какой имъла она прежде. Взаимное уважение другъ въ другъ человъческаго достоинства производить равенство, а равенство-свободу въ отношеніяхъ. Мужчина перестаетъ быть властелиномъ, а женщинарабою, и съ объихъ сторонъ установляются одинаковыя права и одинаковыя обязанности: послёднія, будучи нарушены съ одной стороны, тотчасъ же не признаются болъе и другою. Върность перестаетъ быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердцъ: нътъ болъе чувства-и върность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается-върность опять не имъетъ смысла, ибо что за заслуга быть върнымъ своему счастію?

Мы сказали выше, что романтизмъ нашего времени есть органическое единство всѣхъ моментовъ романтизма, развивавшагося въ исторіи человѣчества. Приступая къ развитію этой мысли, замѣтимъ прежде, что теперь для всякаго возраста и для всякой ступени сознанія должна быть своя любовь, т. е. одинъ изъ моментовъ развитія романтизма въ исторіи. Смѣшно было бы требовать, чтобъ сердце въ восемнадцать лѣтъ любило, какъ оно можетъ любить въ тридцать и сорокъ, или паоборотъ. Есть въ жизни человѣка пора восгочнаго романтизма; есть пора греческаго романтизма; есть пора романтизма среднихъ вѣковъ. И во всякую пору человѣка, сердце его

само знаетъ, какъ надо любить ему и какой любви должно отозваться. И съ каждымъ возрастомъ, съ каждой ступенью сознанія въ челов'єк', изм'єняется его сердце. Изм'єненіе это совершается съ болью и страданіемъ. Сердце вдругъ охладъваеть къ тому, что такъ горячо любило прежде и это охлаждение повергаетъ его во всё муки пустоты, которой нечёмъ ему наполнить, -- раскаянія, которое все-таки не обратить его къ оставленному предмету, стремленія, котораго оно уже боится, и которому оно уже не въритъ. И не одинъ разъ повторяется въ жизни человъка эта романтическая исторія, прежде чімь достигнеть онь до нравственной возможности найти своему успокоенному сердцу надежную пристань въ этомъ въчно волнующемся моръ неопредъленныхъ внутреннихъ стремленій. И тяжело дается челов'єку эта нравственная возможность: дается она ему цъною разрушенныхъ надеждъ, несбывшихся таній, побитыхъ фантазій, ціною уничтоженія всего этого романтизма среднихъ въковъ, который истиненъ только какъ стремленіе, и всегда ложенъ, какъ осуществленіе! И не каждый достигаеть этой нравственной возможности; но большая часть падаеть жертвою стремленія къ ней, падаетъ съ разбитымъ на всю жизнь сердцемъ, нося въ себъ, какъ проклятіе, память о другомъ разбитомъ на всегда сердцъ, о другомъ навъки погубленномъ существованіи... И здысь-то заключается неисчерпаемый источникъ трагическихъ положеній, печальныхъ романтическихъ исторій, которыми такъ современная дъйствительность, наша грустная эпоха, которой не достаетъ еще силъ ни оторваться совершенно отъ романтизма среднихъ въковъ, ни возвратиться вновь и вполнъ въ обманчивыя объятія этого обаятельнаго призрака... Но иные спасаются отъ общей участи времени, находя въ самомъ же этомъ времени не всеми видимыя и не всъмъ доступныя средства къ спасенію. Это спасеніе возможно не иначе, какъ только черезъ совершенное отрицание неопредъленнаго романтизма среднихъ въковъ; однакожъ, это не есть отрицаніе отъ всякаго идеализма и погруженіе въ прозу и грязь жизни, какъ понимаетъ ее толпа, но просвътлъние идеею самыхъ простыхъ житейскихъ отношеній, очеловъченіе естественныхъ стремсуществовать. леній. Для челов'єка нашего времени не можеть не прелесть изящныхъ формъ въ женщинъ, ни обаятельная сила эстетически-страстнаго наслажденія. И, не смотря на то, это будеть не одна чувственность, не одна страсть, но вмъсть съ тъмъ и глубокое цъломудренное чувство, привязанность нравственная, связь духовная, любовь души къ душь. Это будетъ растеніе, котораго пре-

красный и роскошный цвътъ проливаетъ въ воздухъ ароматъ, а корень кроется во влажной и мрачной почвъ земли. Восточная любовь основана на различіи половъ: основаніе это истинно, и недостатокъ восточной любви заключается не въ томъ, что она начинается чувственностью, но въ томъ, что она также и оканчивается чувственностью. Мужчинъ можно влюбиться только въ женщину, а женщинътолько въ мужчину: слъдовательно, половое различе есть корень всякой любви, первый моменть этого чувства. Грекъ обожаль въ женщинъ красоту, какъ только красоту, придавая ей въ въчныя сопутницы грацію. Основа такого воззрънія на женшину истинна и въ наше время, и надо имъть дубовую натуру и заскорузлое чувство, чтобъ смотръть на красоту, не илъняясь и не трогаясь ею; но одной чтобъ смотръть на красоту, не плъняясь и не трогаясь ею; но одной красоты въ женщинъ мало для романтизма нашего времени. Романтизмъ среднихъ въковъ пошелъ далъе древнихъ въ понятіи о красотъ: онъ отказался отъ обожанія красоты, какъ только красоты, и хотълъ видъть въ ней душевное выраженіе. Но это выраженіе понималъ онъ до того неопредъленно и туманно, что древняя пластическая красота относилась къ идеалу его красоты, какъ прекрасная дъйствительность къ прекрасной мечтъ. Понятіе нашего времени о красотъ выше созерцанія древняго и созерцанія среднихъ въковъ: оно не удовлетворяется красотою, которая только храсота и больше ничего, какъ эти прекрасныя, но холодныя мраморныя статуи греческія съ безцвътными глазами; но оно также далеко и отъ безплотнаго идеала среднихъ въковъ. Оно хочетъ видъть въ красотъ одно изъ условій, возвышающихъ достоинство женщины, и виъстъ съ тъмъ ищетъ въ лицъ женщины опредъленнаго выраженія, опредъленнаго характера, опредъленной идеи, отблеска опредъленной стороны духа. Въ наше время умный человъкъ, уже вышедшій изъ пеленъ фантазіи, не станетъ искать себъ въ женщинъ идеала всъхъ совершенствъ, — не станетъ потому, во-первыхъ, что не можетъ видетъ въ самомъ себъ идеала всъхъ совершенствъ, и не захочетъ запросить больше, нежели сколько самъ въ состоянии дать. а возапросить больше, нежели сколько самъ въ состояни дать. а вовторыхъ, потому что не можетъ, какъ умный человѣкъ, върить возможности осуществленнаго идеала всѣхъ совершенствъ, ибо онъ,—опять-таки какъ умный, а не фантазирующій человѣкъ,—знаетъ, что всякая личность есть ограниченіе "всего" и исключеніе "многаго", какими бы достоинствами она ни обладала, и что самыя эти достоинства необходимо предполагаютъ недостатки Найти одну или, пожалуй, нѣсколько нравственныхъ сторонъ, и умѣть ихъ понять и оцѣнить—вотъ идеалъ разумной (а не фантастической) любви

нашего времени. Красота возвышаетъ нравственныя достоинства; но безъ нихъ красота въ наше время существуетъ только для глазъ, а не для сердца и души. Въ чемъ же должны заключаться нравственныя качества женщины нашего времени?—Въ страстной натуръ и возвышенно-простомъ умъ. Страстная натура состоитъ въ живой симпатіи ко всему, что составляеть нравственное существованіе человъка; возвышенно-простой умъ состоить въ простомъ понимании даже высокихъ предметовъ, въ тактъ дъйствительности, въ смълости не бояться истины, ненабъленной и ненарумяненной фантазіею. Въ чемъ состоитъ блаженство любви по понятію нашего времени?—Въ наше время о полномъ безусловномъ счастіи въ любви могутъ мечтать только или отроки, или духовно-малольтнія натуры. Это, вопервыхъ, потому что міръ романтизма не можетъ вполнъ удовлетворить порядочнаго человъка, а во-вторыхъ, потому что наше время какъ-то вообще неудобно для всякаго счастія, а тёмъ менее для полнаго. Возможное счастіе любви въ наше время зависить отъ способности дорожить одареннымъ благородною душою существомъ, которое, при сердечной симпатіи къ вамъ, столько же можетъ повы можете понимать его, и понимать въ томъ, что составляетъ принадлежность правственнаго существованія челов'єка. Вид'єть и уважать въ женщинъ человъка-не только необходимое, но и главное условіе возможности любви для порядочнаго челов'ька нашего времени. Наша любовь проще, естественные, но и духовные, нравственнье любви всъхъ предшествовавшихъ эпохъ въ развитіи человьчества. Мы не преклонимъ колънъ передъ женщиною за то только, что она прекрасна собою, какъ это дълали греки; но мы и не бросимъ ея, какъ наскучившую намъ игрушку, лишь только чувство наше насытилось обладаніемъ. Это не значить, чтобъ наше сердце не могло иногда охладъвать безъ причины; но для насъ нътъ большаго несчастія, какъ, взявъ на себя нравственную отвътственность въ счастіи женщины, разтерзать ея сердце, хотя бы и невольно. Мы ни съ къмъ не станемъ драться, чтобъ заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и добродътели, какъ это дълали рыцари; но мы уважимъ ея дъйствительныя права, и, не дълая ее своею царицею, не захотимъ видътъ въ ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) насъ существо... Мы не увидимъ въ ней, какъ въ средніе въка, какого-то безплотнаго существа высшей природы, но вполнъ признаемъ ее человъкомъ... Мать нашихъ дътей, она не унизится, но возвысится въ глазахъ нашихъ,

какъ существо, свято выполнившее свое святое назначение, и наше понятіе о ея нравственной чистоть и непорочности не имьеть ничего общаго съ тъмъ грязно-чувственнымъ понятіемъ, какое придаваль этому предмету экзальтированный романтизмъ среднихъ въковъ: для насъ нравственная чистота и невинность женщины—въ ея сердлюбви, въ ея душъ, полной возвышенныхъ ив, полнотв мыслей... Идеалъ нашего времени—не дѣвъ идеальная и неземная, гордая своею невинностью, какъ скупецъ своими сокровищами, отъ которыхъ ни ему, ни другимъ не лучше жить на свътъ: нътъ, идеалъ нашего времени женщина, живущая не въ мірь мечтаній, а въ дъйствительности осуществляющая жизнь своего сердца, --- не такая женщина, которая чувствуетъ одно, а дълаетъ другое. Въ наше время любовь есть идеальность и духовность чувственнаго стремленія, которое только ею и можеть быть законно, нравственно и чисто; безъ нея же оно и въ самомъ брак'в есть унижение челов'вческого достоинства, греховный позоръ и растленіе женщины...

Много нужно было времени, битвъ, бореній, переворотовъ и страданій, чтобъ явилась челов'вчеству заря новаго романтизма и настала для него эпоха освобожденія отъ романтизма среднихъ въковъ. Давно уже условія жизни и основы общества были другія, не похожія на тъ, которыми кръпки были средніе въка, но романтизмъ среднихъ въковъ все еще держалъ Европу въ своихъ душныхъ оковахъ, и—Боже мой!—какъ еще для многихъ гибельны клещи этого искаженнаго и выродившагося призрака!... XVIII въкъ нанесъ ему ударъ страшный и ръшительный; но дъло тьмъ не кончилось; какъ лампа вспыхиваетъ ярче передъ тъмъ, когда ей надо угаснуть, такъ сильнъе, въ началъ нынъшняго въка, возсталь было изъ своего гроба этотъ покойникъ. Всякое сильное историческое движение необходимо порождаеть реакцию своей крайности: вотъ причина внезапнаго проявленія романтизма среднихъ въковъ въ литературъ XIX въка. Онъ воскресъ въ странъ, которой умственную жизнь составляеть теорія, созерцаніе, мистицизмъ и фантазерство, и которой дъйствительную жизнь составляеть пошлость бюргерства, гофратства и филистерства,—въ Германіи. Въ концъ XVIII въка тамъ явился великій поэтъ, одною стороною своего необъятнаго генія принадлежавшій челов'вчеству, а другоюнемъцкой національности. Мы говоримъ о Шиллерѣ, поэзія котораго поражаєтъ своєю двойственностью при первомъ взглядѣ. Паоосъ ся составляетъ чувство любви къ человъчеству, основанное на

разумъ и сознаніи; въ этомъ отношеніи Шиллера можно назвать поэтомъ гуманности. Въ поэзін Шиллера сердце его візчно исходитъ самою живою, пламенною и благородною кровью любви къ человъку и человъчеству, ненависти къ фанатизму религіозному и національному, къ предразсудкамъ, къ кострамъ и бичамъ, которые разделяють людей и заставляють ихъ забывать, что они-братья другъ другу. Провозвъстникъ высокихъ идей, жрецъ свободы духа, на разумной любви основанной, поборникъ чистаго разума, пламенный и восторженный поклонникъ просвъщенной, изящной и гуманной древности, — Шиллеръ въ то же время — романтикъ въ смыслъ среднихъ въковъ! Странное противоръчіе! А между тъмъ это противорвчие не подлежитъ никакому сомнению. Мы думаемъ, что первою стороною своей поэзін Шиллеръ принадлежить человічеству, а второю онъ заплатилъ невольную дань своей національности. Шиллеръ высокъ въ своемъ созерцанін любви; но это любовь тельная, фантастическая: она боится земли, чтобъ не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ, именно въ той полосъ сферы, гдъ воздухъ ръдокъ и неспособенъ для дыханія, а лучи солнца свътятъ не гръя... Женщина Шиллера-это не живое существо съ горячею кровью и прекраснымъ тъломъ, а блъдный призракъ; это не страсть, а аффектація. Женщина Шпллера любить больше головою, чъмъ сердцемъ, и она у него всегда на пьедесталь и подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобъ не пахнулъ на нее вътеръ и не коснулся ея прахъ земли. Въ балладахъ своихъ Шиллеръ воскресилъ весь піэтизмъ среднихъ въковъ со всею безотчетностію его содержанія, со всьмъ простодущіемъ его невъжества. Послѣ Шиллера образовалась въ Германіи цълая партія романтическая, представителями которой были братья Шлегели, Тикъ и Новалисъ. Это все были натуры болье или менье даровитыя, но безъ всякой искры генія, и они ухватились со всёмъ жаромъ прозелитовъ за слабую сторону Шиллера, думая найти въ ней все и хлопоча, сколько хватало ей силь, о возобновленін въ новомъ міръ формъ жизни среднихъ въковъ. Самъ Гете-человъкъ высшаго закала, поэтъ мысли и здраваго разсудка, въ легендъ среднихъ въковъ высказалъ страданія современнаго человъка ("Фаустъ"); а въ своемъ "Вертеръ" явился онъ романтикомъ тоже въ духъ среднихъ въковъ. Многія баллады его (какъ, наприм., "Льсной Царь", "Рыбакъ" и проч.) дышать романтизмомъ того времени. —Это движеніе, возникшее въ Германіи, сообщилось всей Европъ. Въ Англіи явился поэтъ всего мен'ве романтическій и всего бол'ве распространившій страсть къ феодальнымъ временамъ. Вальтеръ Скоттъсамый положительный умъ: герои его романовъ всв влюблены, какъ--этого онъ не раскрываеть; его дъло влюбить и женить, а до мистики страсти, до ея развитія и характера онъ никогда не касается. А между тымь онь почти безвыходный жилець среднихь въковъ: онъ съ такою страстью и такою словоохотливостью описываетъ и кольчугу, и гербъ, и рыцарскую залу, и замокъ, и монастырь той эпохи... Быль въ Англіи другой, еще болье великій поэть и романтикъ по преимуществу; но тотъ надвлаль много вреда и нисколько не принесъ пользы среднимъ въкамъ. Образъ Прометея, во всемъ колоссальномъ величіи, въ какомъ передала его намъ фантазія грековъ, явился вновь въ типическомъ образь Байрона; но онъ былъ провозвъстникомъ новаго романтизма, а старому нанесъ страшный ударъ. Во Франціи тоже явилась романтическая школа въ дух'в среднихъ в'вковъ; она состояла не изъ однихъ поэтовъ, но и мыслителей, и силилась воскресить не только романтизмъ, но и католицизмъ, что было съ ея стороны очень послъдовательно. Представителями романтической поэзіи во Франціи были въ особенности два поэта—Гюго и Ламартинъ. Оба они истощили воскресшій романтизмъ среднихъ в'вковъ и оба пали, засыпанные мусоромъ безобразнаго зданія, которое тщетно усиливались выстроить на перекоръ современной дъйствительности. Имъ недоставалс цемента, такъ кръпко связавшаго колоссальные готические соборы среднихъ въковъ. Вообще неестественная попытка воскресить романтизмъ среднихъ въковъ давно уже сдълалась анахронизмомъ во всей Европъ. Это была какая-то странная вспышка, на которой опалили себь крылья замвчательные таланты, и которая много повредила санимъ геніямъ.

Но у насъ этотъ романтизмъ, искусственно воскрешенный на минуту въ Европѣ, имѣлъ совсѣмъ другое значеніе. Россія, реформою Петра Великаго, до того примкнулась къ жизни Европы, что не могла не ощущать на себѣ вліянія происходившихъ тамъ умственныхъ движеній. У Россіи не было своихъ среднихъ вѣковъ, и въ литературѣ ея не могло бытъ самобытнаго романтизма,—а безъ романтизма поэзія то же, что тѣло безъ души. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина, проблескивалъ романтизмъ греческій, по не болѣе, какъ только проблескивалъ. Впрочемъ, ссли бы въ то время явился на Руси поэтъ, вполнѣ проникнутый греческимъ созерцаніемъ и вполнѣ владѣвшій пластицизмомъ греческой формы,—то и въ такомъ случаѣ русская литература выразила бы собою

только одинъ моментъ романтизма, за которымъ оставалось бы ожидать другого. Карамзинъ, какъ мы уже не разъ замѣчали, внесъ въ русскую литературу элементъ сентиментальности, который-не что иное, какъ пробуждение ощущения (sensation), первый моментъ пробуждающейся духовной жизни. Въ сентиментальности Карамзина ощущение является какою-то отчасти бользненною жительностью нервовъ. Отсюда это обиліе слезъ и истинныхъ, и ложныхъ. Какъ бы то ни было, эти слезы были великимъ шагомъ впередъ для общества: ибо кто можетъ илакать не только о жихъ страданіяхъ, но и вообще о страданіяхъ вымышленныхъ, тотъ. конечно, больше человъкъ, нежели тотъ, кто плачетъ только, когда его больно бьють. И однакожъ, ощущение есть только приготовленіе къ духовной жизни, только возможность романтизма, но еще не духовная жизнь, не романтизмъ: то и другое обнаруживается какъ чувство (sentiment), имъющее въ основъ своей мысль. Одухотворить нашу литературу могъ только романтизмъ среднихъ въковъ, болъе близкій и болье доступный обществу, нежели греческій романтизмъ, требующій, для своего уразумінія, особеннаго посвященія путемъ науки. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвятителя въ таинства, романтизма среднихъ въковъ. Назначение сентиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было-расшевелить общество и приготовить его къ жизни сердца и чувства. Поэтому явленіе Жуковскаго вскор'в посль Карамзина очень понятно и вполнъ согласно съ законами постепеннаго развитія литературы, а черезъ нее-общества. Равнымъ образомъ понятенъ путь, которымъ Жуковскій привель къ намъ романтизмъ. Это былъ путь подражанія и заимствованія—единственный возможный путь для литературы, не имѣвшей и не могшей им'єть корня въ общественной почв'є и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобъ поэтическая натура Жуковскагоносила въ себъ сильную родственную симпатію къ музъ Шиллера, и, въ особенности, къ ся романтической сторонъ. Жуковскій познакомился съ своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкъ, -- и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертію Шиллера. Хотя Жуковскій всегда д'єйствоваль, какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотръть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо только то, то гармонировало съ внутреннею настроенностію его духа, и въ томъ отношенін бралъ свое вевдь, гдь только находиль

у Шиллера по преимуществу, но вибстб съ тъмъ и у Гёте, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ Скотта, Томаса Мура, Грея и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многое омъ даже не столько переводилъ, сколько передълывалъ, иное заимствовалъ мѣстами и вставлялъ въ свои оригинальныя пьесы. Однимъ словомъ, Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ не Шиллера или другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германіи и Англіи: нѣтъ, Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ вѣковъ, воскрешеннаго въ началѣ XIX вѣка нѣмецкими и англійскими поэтами, преимущественно же Шиллеромъ. Вотъ значеніе Жуковскаго и его заслуга въ русской литературѣ.

Жуковскій началь свое поэтическое поприще балладами. Этоть родъ поэзій имъ начатъ, созданъ и утвержденъ на Руси: современники юности Жуковскаго смотръли на него преимущественно, какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланій Батюшковъ называль его "балладникомъ". Подъ балладою тогда разумъли краткій разсказъ о любви, большею частію несчастной; могилу, кресть, привидъніе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и въдьмъ считали принадлежностію этого рода поэзін, —больше же ничего не подозр'ввали. Но въ балладъ Жуковскаго заключался болъе глубокій смысль, нежели могли тогда думать. Баллада и романсь—народная пъсня среднихъ въковъ, прямое и наивное выражение романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по преимуществу романтическія. Первою бал-ладою, обратившею на Жуковскаго общее вниманіе, была "Людмила", передъланная имъ изъ Бюргеровой "Леноры", которую онъ впослъдствіи перевелъ. "Ленора" доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себъ славу! Такое время миновалось даже для Россіи. Но "Людмила" Жуковскаго явилась кстати: она имъла успъхъ въ родъ того, какимъ воспользовались "Душенька" Богдановича и "Бъдная Лиза" Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладъ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ решительно нетъ въ другихъ балладахъ Жуковскаго; но и "Людмила" въ то время могла быть написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всъхъ своею легкостью, звучностью, а главное—своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады—самое романтическое, во вкуст среднихъ въковъ: дъвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полъ битвы, ропщетъ на судьбу, и за то ее лостигаеть страшное наказаніе: милый прівзжаеть за нею на конв и увозить ее—въ могилу, и хоръ твней воетъ надъ нею эту моральную сентенцію:

> Смертныхъ ропотъ безразсуденъ; Царь всевышній правосуденъ; Твой услышалъ стонъ Творецъ; Часъ твой билъ, насталъ конецъ.

Было время (и оно давно-давно уже прошло для насъ), когда эта баллада доставляла намъ какое-то сладостно-страшное удовольствіе, и чемъ больше ужасала насъ, темъ съ большею страстью мы читали ее. Дъти нынъшняго времени стали умиве, и мы не думаемъ, чтобъ теперь даже и между ними могли найтись почитатели "Людмилы". А между тъмъ, повторяемъ, она самое романтическое произведеніе въ духъ среднихъ въковъ. И если бы мы не помнили, какъ она коротка казалась намъ во время оно, несмотря на свои двъсти пятьдесять два стиха,—то не могли бы теперь довольно надивиться тому, какъ достало у поэта терпънія и силы написать столь длинную балладу въ такомъ родъ... Но у всякаго времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не станемъ восхищаться "Бѣдною Лизою"; однакожъ эта повъсть, въ свое время, исторгла много слезъ изъ прекрасныхъ глазъ, прославила Лизинъ Грудъ и испестрила кору растущихъ надъ нимъ березъ чувствительными надинсями. Старожилы говорять, что вся читающая Москва ходила гулять на Лизинъ Прудъ, что тамъ были и мѣста свиданія любовниковъ и мъста дуэлей. И много было писано потомъ повъстей въ такомъ родь; но ихъ тотчасъ же забывали по прочтеніи, а до насъ не дошли даже и названія нхъ, — знакъ, что только таланть умветь угадывать общую потребность и тайную думу времени. Всъ произведенія, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться въ исторіи: это курганы, указывающіе на путь народовъ на м'єста ихъ роздыховъ... Къ такимъ произведеніямъ принадлежить "Людмила" Жуковскаго. Сверхъ того, романтизмъ этой баллады состоитъ не въ одномъ нельпомъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта, но въ фантастическомъ колоритъ красокъ, которыми оживлена мъстами эта дътски-простодушная легенда, и которыя свидътельствують о таланть автора. Такіе стихи, какъ, напримъръ, сльдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

> Слышутъ шорохъ тихихъ тѣней: Въ часъ полуночныхъ видѣній, Въ дымѣ облака толпой, Прахъ оставя гробовой,

Съ позднимъ мѣсяца восходомъ, Легкимъ, свѣтлымъ хороводомъ, Въ цѣпь воздушную свились— Вотъ за ними понеслись; Вотъ поютъ воздушны лики: Будто въ листьяхъ павилики Вьется легкій вѣтерокъ; Будто плещетъ ручеекъ.

Или вотъ эта фантастическая картина ночной природы:

Вотъ и мѣсяцъ величавый Всталъ надъ тихою дубравой: То изъ облака блеснетъ, То за облако зайдетъ; Съ горъ простерты длинны тѣни; И лѣсовъ дремучихъ сѣни, И зерцало зыбкихъ водъ, И небесъ далекій сводъ Въ свимый сумрамъ облеченны, Спятъ пригорки отдаленны, Боръ заснулъ, долина спитъ... Чу!.. полночный часъ звучитъ Потряслись дубовъ вершины; Вотъ повѣялъ отъ долины Перелетный вѣтерокъ... Скачетъ по полю ѣздокъ...

Такіе стихи вполн'в оправдывають восторгь и удивленіе, которыми была н'вкогда встр'вчена "Людмила" Жуковскаго: тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой баллад'в новый духътворчества, новый міръ поэзін—и общество не ошиблось.

"Свътлана", оригинальная баллада Жуковскаго, была признана за его chef d'oeuvre, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 году, стало быть, тридцать лътъ назадъ тому) титуловали Жуковскаго "пъвцомъ Свътланы". Въ этой балладъ Жуковскій хотълъ быть народнымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послъ. Содержаніе "Свътланы" извъстно всъмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критика, какая когда-либо написана была о "Свътланъ", заключается въ посвятительномъ куплетъ баллады:

Въ ней большія чудеса, Очень мало складу.

"Алина и Альсимъ", кажется, принадлежить къ числу оригинадъныхъ балладъ Жуковскаго. Она отличается какимъ-то простодушіемъ въ тонѣ, несвойственнымъ нашему времени и вызывающимъ на уста не совсѣмъ добрую улыбку; но ея содержан*те, не с*мотря на романтизмъ, исполнено смысла и должно было *имѣтъ с*амое разумное вліяніе на свое время. Вѣроятно, такіе стихи, какъ слѣдующіе, не одними прекрасными устами повторялись набожно:

Что пользы въ платье дорогое Себя рядить? Богатство на землѣ прямое Одно: любить.

Картина свиданія Алины съ Альсимомъ, представшимъ передъ нею подъ видомъ продавца золотыхъ вещей, нарисована кистью грустною и меланхолическою; нѣкоторые стихи проникнуты самымъ обаятельнымъ романтизмомъ, какъ, напримѣръ, эти:

Блистала красота младая
Въ его чертахъ;
Но блъденъ; борода густая;
Печаль въ глазахъ.
Мила для взоровъ живость цвъта,
Знакъ юныхъ дней;
Но блыдный цвътъ, тоски примъта,
Еще милъй.

Развязка баллады—дътская мелодрама: кинжалъ, убійство невинныхъ и терзаніе совъсти убійцы. Мы думаемъ, что такимъ окончаніемъ испорчена баллада, имъвшая для своего времени великое достоинство.

Не знаемъ, что подало поводъ Жуковскому написать "Двънадцать Спящихъ Дѣвъ"; но мысль "Вадима", составляющаго вторую часть этой огромной баллады, заимствована имъ изъ романа Шписа "Старикъ вездѣ и нигдѣ". Мѣсто дѣйствія этой баллады въ Кіевѣ и Новѣгородѣ; но мѣстныхъ и народныхъ красокъ—никакихъ. Это нисколько не русская, но чисто романтическая баллада въ духѣ среднихъ вѣковъ. Мы еще возвратимся къ ней.

Товорятъ, что "Эолова Арфа" — оригинальное произведенте Жуковскаго: не знаемъ; но по крайней мѣрѣ достовѣрно то, что она — прекрасное и поэтическое произведеніе, гдѣ сосредоточенъ весь смыслъ, вся благоухающая прелесть романтики Жуковскаго. Эта любовь, несчастная по неравенству состояній, младенчески невинная, мечтательная и грустная, это свиданіе подъ дубомъ, полное тихаго блаженства и трепетнаго предчувствія близкаго горя, и арфа, повѣшенная "залогомъ прекрасныхъ минувшихъ дней", и явленіе милой тѣни одинокой красавицѣ, сопровождаемое таинственными звуками и возвѣстившее утрату всего милаго на землѣ: все это такъ и дышитъ музыкою сѣвернаго романтизма, неопредѣленнаго, туманнаго, унылаго, возникшаго на гранитной почвѣ Скандинавіи и туманныхъ берегахъ Альбіона... Надо живо помнить первыя лѣта своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не

охватили его своимъ порывистымъ пламенемъ,—надо живо помнить эти дни сладкой тоски, мечтательнаго раздумья и тревожнаго порыванія въ какой-то таинственный міръ, которому сердце въритъ, но котораго уста не могутъ назвать,—надо живо помнить это время своей жизни, чтобъ понять, какое глубокое впечатлъніе должны производить на юную душу эти прекрасные стихи послъдняго куплета баллады:

И нътъ уже Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей
Восходятъ туманы,
И свитите, какъ въ дыми, лупа безъ лучей—
Двъ видятся тъни:
Сліявшись, летятъ
Къ знакомой имъ съни .
И дубъ шевелится, и струны звучатъ.

Минвана—не гордая красавица юга, съ роскошными формами тѣла, огненными глазами, цвѣтущая здоровьемъ, пышущая страстью; нѣтъ, это блѣдная красота сѣвера, тихая и кроткая, похожая на какоето милое, воздушное видѣніе, красота, трогающая своею болѣзненностью, очаровывающая своею томностію, идеалъ романтической красоты и въ особенности идеалъ красоты Жуковскаго... Со стороны художественной въ этой балладѣ есть одинъ важный недостатокъ: если нельзя сказать, чтобъ она была растянута, то и нельзя сказать, чтобъ она была растянута, то и нельзя сказать, чтобъ она была сжата столько, сколько бы это нужно было для полнаго и сильнаго впечатлѣнія.

"Рыцарь Тогенбургъ"—прекрасный и върный переводъ одной изъ лучшихъ балладъ Шиллера. Рыцарь любитъ дъвушку, которая не понимаетъ чувства любви; тревоги военной жизни и жаркія схватки съ мусульманами не охладили въ рыцаръ его несчастной страсти; возвратившись на родину, онъ узнаетъ, что—она монахиня; тогда онъ скрывается въ убогой кельъ, по сосъдству монастыря, какъ гробъ, схоронившаго въ себъ всъ надежды его на блаженство жизни,—

И душ'т его унылой
Счастье тамъ одно:
Дожидаться, чтобъ у милой
Стукнуло окно.
Чтобъ прекрасная явилась,
Чтобъ отъ вышины
Въ тихій долъ лицомъ склонилась,
Ангелъ тишины.

Въ одно прекрасное утро, злополучный рыцарь умеръ, смотря на окно... Подлинно— "рыцарь печальнаго образа"!... Какъ жаль, что

Шиллеръ воскресилъ его не совсъмъ въ пору да вовремя! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокія и прозанческія, мы жальемъ объ этомъ рыцарь, но не какъ о человькь, постигнутомъ рокомь и несущемь на себъ тяжкое бремя дъйствительнаго несчастія, а какъ о сумасшедшемъ... Поистинъ, бъдняжка для насъ немного смъшенъ и жалокъ-... Что дълать? въ этомъ отношеніи, мы совершенно классики, и нисколько не романтики. Во-первыхъ, мы не въримъ, чтобъ все назначение мужчины заключалось только въ любви и чтобъ всв силы души его должны были сосредоточиться въ одномъ этомъ чувствъ, во-вторыхъ, мы мало уважаемъ върность до гроба и считаемъ ее натяжкою воли, аффектаціею, а не своболно горяшимъ огнемъ чувства; въ-третьихъ, мы не въримъ возможности любви нераздёльной, —и если можемъ допустить ее, то не иначе, какъ болъзнь или помъщательство. Любовь вспыхиваеть отъ сближенія, взаимность раздражаетъ ея энергію; невниманіе и холодность вызываютъ чувство оскороленнаго самолюбія, униженнаго достоинства—и уничтожаютъ возможность любви. Есть люди и въ наше время, которые готовы увърпть себя въ какомъ угодно чувствъ и которые никогда не будутъ имъть благородной смълости сознаться передъ самими собою, что ихъ чувство у нихъ не въ сердцѣ, не въ крови, а въ головѣ и фантазіи. Они думаютъ, что измѣнить разъ овладѣвшему ими чувству постыдно, и цѣлую жизнь натягиваются, силою воли, держать себя въ этомъ чувствъ. A force de forger...—и ихъ вымышленное чувство въ самомъ дъль даеть имъ призракъ радости и тоски, какъ будто бы и дъйствительное чувство. Бъдняки рисуются передъ самими собою и не нарадуются своей глубокой и спльной натуръ, которая если полюбить разъ, то ужъ навсегда, и скоръе умреть, чъмъ измънитъ своему чувству. Они не знаютъ, что въ этой добродътели давно уже побъдилъ ихъ знаменитый витязь Донъ-Кихотъ, который до могилы остался въренъ своей прекрасной Дульцинев, котораго одна мысль о сей очаровательной дам'в его сердца укр'виляла на великіе подвиги, на битвы съ мельницами и баранами, дълая его и несчастнымъ, и бла-женнымъ... А что такое Донъ-Кихотъ?—Человъкъ вообще умный, благородный, съ живою и дъятельною натурою, но который во-образилъ, что ничего не стоитъ въ XVI въкъ сдълаться рыцаремъ XII въка-стоитъ только захотъть...

Мы выше замътили, что романтизмъ не есть достояніе и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: онъ—въчная сторона натуры и духа человъческаго; онъ не умеръ послъ среднихъ

въковъ, а только преобразился. Итакъ, нашъ новъйшій романтизмъ не думаетъ отрицать любви, какъ естественнаго стремленія сердца, но только требуетъ, чтобъ это стремленіе не было подземною, темною, адскою силою, вовлекающею человъка, какъ пасть гремучей ною, адскою силою, вовлекающею человъка, какъ пасть гремучей змъи, въ бездну погибели. Не отнимая у чувства свободы, нашъ романтизмъ требуетъ, чтобъ и чувство, въ свою очередь, не отнимало у человъка свободы, а свобода есть разумность. Гдѣ же разумность—въ болъзненномъ чувствъ, приковавшемъ одного человъка къ другому, когда этотъ другой свободенъ? Въ такомъ случаъ Богъ съ нею—съ любовью! Широка жизнь, и много дорогъ на ея безконечномъ пространствъ, и любую изъ нихъ можетъ выбрать себъ свободная дъятельность мужчины. Грустно видъть человъка, который потерялъ все, что любилъ, и котораго сердце этою потерео навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудитъ такого чловька: его скорбь имъеть имя, она дъйствительна, — онъ оплакиваеть то, что зваль своимъ, чъмъ быль счастливъ. Но сдълаться жертвою призрака, мечты, прихоти больного воображенія, каприза неразумнаго сердца, сосредоточить всѣ свои желанія на женщинѣ, которая о насъ не думаетъ, посвятить всю жизнь свою на то, чтобъ украдкою изръдка смотръть на нее въ почтительномъ разстояніи какая унизительная, какая презрънная роль! Въ одной сказкъ сумасброднаго романтика Гофмана, человъкъ влюбляется въ автомата и гибнетъ жертвою этой любви: не похожъ ли на него рыцарь Тогенбургъ?.. Въ средніе вѣка понимали любовь, какъ какое-нибудь неизбѣжное, роковое предназначеніе. Романтизмъ нашей эпохи понеизоъжное, роковое предназначене. Романтизмъ нашей эпохи по-нимаетъ дѣло проще, безъ всякаго мистицизма. Онъ не думаетъ, чтобъ для мужчины существовала только одна женщина въ мірѣ, а для женщины—только одинъ мужчина въ мірѣ. Выборъ предмета любви основанъ на капризѣ сердиа; любовь зависитъ отъ сближе-нія, а сближеніе отъ случайности. Не удалось здѣсь—удастся тамъ; не сошлись съ одною, сойдетесь съ другою. Это опять не значитъ, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волѣ своей: это значить только то, что если каждый можеть любить только извъстный идеалъ, то никогда никакой идеалъ не является въ міръ въ одномъ экземпляръ, но существуетъ въ большемъ или меньшемъ числъ видоизмъненій и оттънковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобъ не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиною несчастія его жизни. Вы любили только разъ въ жизни и были до гроба верны одной только

привязанности: прекрасно! Но не дѣлайте изъ этого общаго для всѣхъ правила! Одинъ такъ, другой иначе, тотъ—одинъ разъ въ жизни, а этотъ десять разъ; оба равно правы, лишь бы только на совѣсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастіе. Нѣтъ преступленія любить нѣсколько разъ въ жизни, и нѣтъ заслуги любить только одинъ разъ: упрекать себя за первое и хвастаться вторымъ—равно нелѣпо...

Когда двѣ эпохи такъ противоположно расходятся во взглядѣ на одни и тъ же предметы, то поэзія старой эпохи теряеть свою силу для новой. Если какая-нибудь эпоха выразила собою одинъ изъ моментовъ всемірно-историческаго развитія, то ея поэзія всегда имъетъ свою историческую важность: но только ея собственная поэзія, а не подд'яльная подъ нее. И потому готическіе соборы среднихъ въковъ и въ наше время сильно дъйствуютъ на душу, а баллады Шиллера, не смотря на всю поэтическую прелесть ихъ, ни для кого не занимательны. Скажемъ болъе: чъмъ выше, по своему художественному достоинству, такія баллады, какъ "Рыцарь Тогенбургъ", тъмъ большее сожальніе возбуждають онь въ читатель нашего времени, что столько пушечныхъ зарядовъ потрачено по воробьямъ... Разумъется, это можно ставить въ упрекъ Шиллеру, но отнодь не Жуковскому: ибо первый, въ приведенныхъ нами стихотвореніяхъ, старался воскресить давно умершіе интересы, когда современная жизнь кипъла великими вопросами и историческій духъ, какъ подземный кротъ, подрывалъ старыя основы новой дъйствительности; а второй усвоиваль юной, едва рождавшейся литературъ плодотворные для нея элементы, и юное, едва возрождавшееся общество знакомилъ съ новыми, необходимыми ему интересами. Итакъ, чтобъ еще полнъе и опредъленнъе высказать сущность и характеръ романтизма среднихъ въковъ, а вмъстъ съ нимъ и романтики Жуковскаго, — бросимъ бъглый взглядъ на содержаніе еще нъкоторыхъ балладъ его.

Одинъ добрый пустынникъ разъ завелъ къ себѣ въ лѣсную келью заблудившагося путника,—потомъ узналъ въ немъ свою любезную, послѣ чего, сорвавъ съ себя накладную бороду, Эдвинъ поклялся жить и умереть вмѣстѣ съ Мальвиною. Это, вѣроятно, случилось такъ давно, что теперь трудно и повърить, чтобъ когданибудь могло случиться.— Эдвинъ любилъ Эльвину, но богатый отецъ его запретилъ ему видѣться съ бѣдною дѣвушкою. Что тутъ дѣлать? Нечитавшіе этой баллады могутъ подумать, что Эдвинъ былъ школьникъ, котораго отецъ могъ высѣчь за непослушаніе. Ничего

не бывало! Онъ былъ малый на возрасть, уже знакомый съ страстями:

Увы, Эдвинъ! Въ какой борьбъ въ немъ страсти! И ни одной нътъ силы побъдить... Какъ не признать отцовской власти? Но какъ же не любить?

Такъ вотъ что затрудняло и заставляло его страдать! Его отецъ быль отець по понятіямь среднихь в'ьковь, т. е. челов'ькь, который, за бъдный даръ жизни, считалъ себя въ правъ лишать сына счастія по произволу своей прихоти, другими словами-считалъ сына своимъ рабомъ, своею вещью... Въ наше время отецъ имъетъ совсъмъ другое значеніе: его связываеть съ д'ятьми не столько кровь, сколько духъ; онъ считаетъ своею заслугою не то, что далъ дътямъ своимъ физическое существованіе, но то, что онъ далъ имъ черезъ воспитание, основанное на любви, нравственную жизнь. Если бъ времени сталъ отнимать у сына счастіе его жизотецъ нашего ни, на основании собственныхъ корыстныхъ расчетовъ, -- всъ бы увидьли, что отецъ любить себя, а не сына, и тъмъ самымъ уничтожаеть свои права надъ нимъ: ибо если нътъ любви, связывающей отца съ дътьми, то у дътей нъть и отца. Но въ средніе въка думали объ этомъ иначе, и отецъ считалъ своимъ священнымъ правомъ быть деспотомъ, а сынъ-своею священною обязанностью быть вещію дражайшаго родителя. Такъ думаль и нашъ Эдвинъ, а потому и слегъ съ горя въ постель, ръшившись тію окончить жизнь свою; но прежде ему хотьлось взглянуть на Эльвину, которая, принявъ его последній вздохъ, тоже не захотела больше жить, и едва усиъла добъжать до своей матери, какъ и умерла. Вотъ какъ любили прежде и какъ тогда опасно "дражайшимъ родителямъ" разлучать върныя сердца! Но вмъстъ съ тъмъ, должно замътить, что въ то время, когда появились на русскомъ языкъ объ эти баллады, онъ были важны для воспитанія въ обществъ человъческихъ чувствъ и не могли не дъйствовать на нравственное образование новыхъ покольний. — Барвикъ, похититель короны и убійца своего царственнаго воспитанника, законнаго наследника престола, наказанъ-наводненіемъ; спасаясь въ челнокъ, онъ принужденъ протянуть руку утопающему младенцу-призраку погубленнаго имъ царевича, который и увлекаетъ его въ волны. Стихи этой баллады чудесные, описанія картинныя, ціль нравственная—все хорошо, только нимало не правдоподобно...—Рыцарь Адельстанъ купилъ у сатаны счастье любви объщаніемъ расплатиться съ нимъ за это своимъ первенцемъ; но лишь подалъ онъ ему младенца, какъ и очутился самъ въ его когтахъ, а младенецъ спасся какимъ-то чудомъ. Стихи этой баллады звучные, живописные; содержаніе поучительно, но не для людей грамотныхъ и сколько-нибудь образованныхъ, а именно для того класса людей, который, по безграмотности, совству не читаетъ балладъ...Славный боецъ былъ Гаральдъ; но не въ добрый часъ захотълось ему напиться воды изъ ручья-выпиль и окаменьль: это была злая шутка со стороны фей, которыя обольстили и увлекли спутниковъ Гаральда... Какъ хорошо, что въ наше прозанческое время фен перевились, и мы можемъ пить воду, не боясь окаменъть!..-Слуга, убивъ своего паладина, надълъ на себя его доспъхи, и по причинъ ихъ тяжести утонулъ въ ръкъ, куда сбросилъ его конь убитаго рыцаря; достойное наказаніе убійцы! — Одинъ жестокій епископъ сжегъ въ сарав, какъ мышей, бъдный народъ, просившій у него хліба въ голодный годъ, и за то былъ наказанъ мышами же, которыя събли живьемъ самого его... Чудные въка были эти времена феодализма! Всякая добрадътель въ нихъ немедленно награждалась, и всякій порокъ немедленно наказывался. Пострадать невинно тогда не было никакой возможности: въ чемъ бы ни обвиняли васъ-хотя бы въ отцечбійствъ, -- но если вы были убъждены въ своей невинности, вамъ стоило только опустить руку въ кипятокъ и быть увереннымъ, что рука ваша не обожжется, а этимъ чудомъ и другихъ убъдитъ въ чистотъ вашей совъсти... Должно быть, теперь свойство горячей воды много изм'бнилось: проклятая равно сварить и виновную, и невиновную руку. Вотъ и извольте жить въ такія времена, да читать баллады, въ чудесахъ которыхъ разувъряетъ васъ эта положительная дъйствительность! Хуже всего то обстоятельство, что въ наше прозанческое время чтеніе чудесныхъ балладъ не доставляетъ никакого удовольствія, но наводить апатію и скуку... Воть, наприм'єрь, какъ хороша "Баллада, въ которой описывается какъ одна старушка ъхала на черномъ конъ вдвоемъ, и кто сидълъ впереди"! Жуковскій превосходно перевель ее съ англійскаго (кажется, изъ Сутэя); но въдь дочесть ее до конца право нътъ силъ. Старушка эта была страшная колдунья, сколько можно судить по ся собственной испов'вди:

> «Здѣсь мѣсто дня была мнѣ ночи мгла; Я кровь младенцевъ проливала, Власы невѣстъ въ огнѣ волшебномъ жгла И кости мертвыхъ похищала».

Боясь дьявола, который долженъ, по уговору, прійти за ея тыломъ (ужъ не знаемъ, зачымъ понадобилась дукавому тыло старухи, когда душа ен была и безъ того въ его когтяхъ), старуха просить сына своего, чернеца, отстоять молитвами ея кости отъ покушеній нечистаго. Однакожъ тотъ взяль свое, на черномъ кон'в похитивъ старую колдунью. И подъломъ ей; но вотъ бъда: шительно не въримъ ни колдунамъ, ни колдуньямъ, и если ни за что въ свъть не позволимъ имъ проливать кровь нашихъ младенцевъ, то охотно позволимъ имъ жечь въ волшебномъ и какомъ угодно огив остриженные волосы нашихъ невъстъ (если имъ вздумается обръзать свои волосы) и похищать кости нашихъ мертвыхъ. Вирочемъ, колдуны нашего времени, колдуны классическіе, гораздо умиве колдуновъ романтическихъ: если кровь младенцевъ, волосы (или, пожалуй даже и власы) невъсть и кости мертвыхъ не дадуть имъ денегъ, они не стануть и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвыхъ собственно, то для ихъ спокойствія въ матери-сырой-земл'в гораздо опасн'ве всякихъ колдуновъ студенты медицинскихъ факультетовъ и вообще люди, занимающіеся врачебною наукою: ни одинъ изъ этихъ господъ не усомнится спрятать въ свой карманъ выглянувшій изъ земли черепъ, въ полной увъренности (которой, по совъсти и здравому разсудку, нельзя не оправдать и не одобрить), что покойный владелець черепа не будеть въ претензіи на такое поруганіе, и что для него рѣшительно все равно-гнить въ землъ, или въ ученомъ кабинетъ споспынествовать успыхамь благодытельнаго для человычества знанія. Итакъ, чтобъ восхититься балладою, въ которой описывается путешествіе старухи колдуньи въ адъ съ чортомъ и на чорть, надо имъть способность съ поднявшимися на головъ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать всв глупыя бредни колдунахъ и чертяхъ, —а способность эта можетъ быть только плодомъ самаго грубаго невѣжества, отъ котораго теперь освобождается мало-по-малу даже и чернь. Такія баллады могли бы пугать развѣ только нѣжное и впечатлительное (impressionable) воображеніе дътей: но кто же захочеть правственно губить дътей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады?.... Это было бы далеко превзойти въ преступлении старую колдунью, которая

> ...Кровь младенцевъ проливала, Власы невъстъ въ огнъ волшебномъ жгла И кости мертвыхъ похищала.

И, однакожъ, Жуковскій такъ быль въренъ своему романтическому направленію въ духъ среднихъ въковъ, что баллады самаго стран-

наго содержанія переведены имъ уже послъ 1820 года. Къ числу такихъ балладъ принадлежитъ и баллада о старухъ колдуньъ, ъхавшей въ адъ съ дьяволомъ на чертв. Переведенная имъ "Ленора" напечатана была въ 1831 году. —Какъ на образецъ неумъреннаго и несвоевременнаго романтизма, укажемъ на балладу "Изолина". Иввецъ Алонзо возвратился изъ Палестины и началъ пъть подъ окнами своей Изолины; но узнавъ, что она умерла, онъ самъ же минуту умираеть, а Изолина воскресаеть отъ его пъсни: вотъ и все!—Еще болье характеризируеть романтизмъ среднихъ въковъ баллада "Доника", которой содержание состоитъ въ томъ, что прекрасную невъсту рыцаря ни съ того ни съ сего вдругъ вселился бъсъ и оставилъ ее при алтаръ, куда пришла она вънчаться, оставилъ ее вивств съ ея жизнію... Воть онъ, романтизмъ среднихъ въковъ, мрачное царство подземныхъ демонскихъ силъ, отъ которыхъ нѣтъ защиты самой невинности и добродѣтели! Греческій романтизмъ никогда не доходилъ до такихъ нельпостей, унижающихъ человъческое достоинство. Валлады "Братоубійца", "Королева Урака и пять Мученниковъ" и "Покаяніе" суть не что иное, какъ католическія легенды среднихъ въковъ. Послъдняя—лучшая изъ нихъ и по стихамъ, и по содержанію. "Замокъ Смальгольмъ", прекрасная баллада Вальтеръ Скотта, прекрасными стихами, переведенная Жуковскимъ, поэтически характеризируетъ мрачную и исполненную злодыйствъ и преступленій жизнь феодальныхъ временъ. По языку, это одно изъ удивительнъйшихъ произведеній Жуковскаго.

Въ собственно-лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и передъланныхъ Жуковскимъ съ нъмецкаго языка, открывается еще болъе, чъмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что такое этотъ романтизмъ? Это—желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ, жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастіи, которое Богъ знаетъ въ чемъ состояло; это—міръ, чуждый всякой дъйствительности, населенный тънями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тъмъ не менъе неуловимыми; это—уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собою будущаго; наконецъ, это—любовь, которая питается грустью и которая безъ грусти не имъла бы чъмъ поддержать свое существованіе. Поищемъ въ стихахъ Жуковскаго оправданія нашего неопредъленій разборъ каждаго

стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его поэзіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковскаго не что иное, какъ разныя варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко всѣмъ имъ идуть, какъ эпиграфъ, два послѣдніе стиха, которыми оканчивается пьеса "Тоска по Миломъ":

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась; Одна о минувшемъ тоска мнъ осталась.

"Таинственный Посътитель" есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковскаго. Прочтемъ его.

Кто ты, призракъ, гость прекрасный?
Къ намъ откуда прилеталъ?
Безотвътно и безгласно,
Для чего отъ насъ пропалъ?
Гдъ ты? Гдъ твое селенье?
Что съ тобой? Куда исчезъ?
И зачъмъ твое явленье
Въ поднебесную съ небесъ?

Не Надежда ль ты младая, Приходящая порой Изъ невъдомаго края Подъ волшебной пеленой? Какъ она, неумолимо Радость милую на часъ Показалъ ты, съ нею мимо Пролетълъ и бросилъ насъ.

Не Любовь ли намъ собою Тайно ты изобразилъ? Дни любви, когда одною Міръ одной прекрасенъ былъ? Акъ! тогда сквозь покрывало Неземнымъ казался онъ... Снятъ покровъ; любви не стало; Жизнь пуста и счастье сонъ.

Не волшебница ли Дума
Здѣсь въ тебѣ явиласъ намъ?
Удаленная отъ шума
И мечтательно къ устамъ
Приложивши перстъ, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ минувшее уводитъ
Насъ безмолвно за собой.

Иль въ теб'в сама святая Здвсь *Поэзія* была?... Къ намъ, какъ ты, она изъ рая Два покрова принесла; Для небесъ лазурно ясный, Чистый, бълый для земли: Съ ней все близкое прекрасно; Все знакомо, что вдали.

Иль *Предчувстве* сходило
Къ намъ во образъ твоемъ
И понятно говорило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свътлый подлетитъ
И подыметъ покрывало,
И въ далекое манитъ.

Поняли ль вы, кто такой этотъ "таинственный посътитель"? Самъ поэтъ не знаетъ, кто онъ, и думаетъ видъть въ немъ то Надежду, то Любовь, то Думу, то Поэзію, то Предчувствіе... Но эта-то неопредъленность, эта-то туманность и составляетъ главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Попытаемся объяснить ее.

Есть въ человъкъ чувство безконечнаго; оно составляетъ основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной дъятельности. Безъ стремленія къ безконечному нътъ жизни, нътъ развитія, нътъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ стремлені ні и и достиженіи. Но когда человъкъ чего-нибудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется этимъ вполнъ; напротивъ, торжество достиженія бываетъ въ его душть непродолжительно и скоро побъждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, неудовлетворенія ничть въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человъкъ бываетъ счастливъе, пока онъ борется съ препятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побъдою борьбы, праздникомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чъмъ глубже натура человъка, тъмъ сильнъе въ немъ стремленіе и тъмъ менть способенъ онъ къ удовлетворенію.

И неестественнымъ стремленьемъ Весь міръ въ мою тѣснился грудь: Картиной, звукомъ, выраженьемъ, Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть. И въ нѣжномъ сѣмени сокрытый, Сколь нышнымъ мнѣ казался свѣтъ... Но ахъ, сколь мало въ немъ рязвито! И малое—сколь бѣдный цвѣтъ!

говоритъ Шиллеръ. Таково свойство безконечнаго: духъ человъка въ состояни охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявлени, въ условіяхъ временной послѣдовательности: и потому, достигая чего-нибудь, онъ тотчасъ же видитъ, что не достигнулъ всего. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ нѣчто, какъ

не выражающее безконечного, и думаетъ достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ безпрерывнаго развитія, безпрерывнаго движенія впередъ. И когда это стремленіе осуществляется въ сферъ практическаго міра, когда оно есть въчное д вланіе, безпрерывное творчество, тогда стремленіе это есть дъйствительная сила человъка, тогда для него есть цъль, и ссли достижение не удовлетворяеть такого человъка, тъмъ не менъе оно для него-прогрессъ, и новое стремление его выше предшествовавшаго, новая цёль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла дёйствительности, чуждыя практическаго міра д'ятельности, живущія въ отвлеченной иде'я: такія натуры стремление къ безконечному принимають за одно съ безконечнымъ и хотять, во что бы то ни стало, найти свое удовлетворение въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дъятельныхъ, незнакомыхъ съ стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цълями житейскими. Но тъмъ не менъе, они — люди односторонніе, ибо пружниу дъйствія принимають за самодъйствие и за цель действия: это такая же ошибка, какъ если бъ кто, желая узнать, который часъ, вивсто того, чтобъ посмотръть на циферблать, открыль внутренность часовъ и началь смотръть на спиральную цъпочку.

Итакъ, содержаніе поэзіи Жуковскаго, ея павосъ составляеть стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу—за цѣль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вѣчно стремится, никогда не достигая, вѣчно спрашиваетъ самое себя, никогда не давая отвѣта:

Иль опять отъ вышины Въсть знакомая несется? Или снова раздается Мильій голосъ старины? Или тамъ, куда летитъ Птичка, странникъ поднебесный, Все еще сей неизвъстный Край жееланиаго сокрытъ?... Кто жъ къ невъдомымъ брегамъ Путь невъдомый укажетъ? Ахъ! найдется, кто мнъ скажетъ Очарованное Тамъ?

Озарися долъ туманный; Разступися, мракъ густой; Гдъ найду исходъ желанный? Гдъ воскресну я душой? Испещренные цвътами, Красны холмы вижу тамъ.. Ахъ, зачъмъ я не съ крылами? Полетълъ бы я къ холмамъ.

Вотъ два отривка изъ двухъ разныхъ стихотвореній; не варіаціи ли это на мотивъ "таинственнаго посътителя"?... И въ доказательство этого можно бы привести по отривку почти изъ каждаго стихотворенія Жуковскаго...

Есть въ жизни человъка время, когда онъ бываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если ловъкъ можетъ потомъ сдълаться способнымъ къ стремленію дъйствительному, имъющему цъль и результать, онъ этимъ будеть обязанъ тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и безсознательныхъ порывовъ была и у человъчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ въковъ. Если въ романтизмъ современной Европы нътъ мрака и много свъта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ въковъ. И если мы въ поэзіи Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредъленнаго содержанія, больше эрълости и мужественности мысли, чымъ въ поэзін Жуковскаго, -- это потому, что Пушкинъ имълъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій, своею поэзіею, пополниль въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ въковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ вѣковъ, и романтическая поэзія чала XIX въка. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда—не простое упоминовение въ истории отечественной литературы, но въчное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметь имбеть дв'в стороны, и находить въ немъ не одно хорошее—совства не значить осуждать его. Романтизмъ среднихъ в'вковъ, разум'вется, не годится для нашего времени; теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ былъ истиною. Былъ и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моменть, когда для нихъ романтизмъ среднихъ в'вковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ с'вменемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзіи. Великъ подвигъ того, кто удовлетворилъ этой потребности; но т'вмъ не мен'ве, мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу,—должны сознать его въ настоящемъ его значеніи, увидъть вс'в его стороны. Мало того, чтобы сказать, что Жуковскій

ввелъ романтизмъ въ русскую поззію: надо показать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видъ.

Любовь играеть главную роль въ поэзіи Жуковскаго. Какой, же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность?—Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скоръе потребность, жажда любви; стремленіе къ любви, и потому любовь въ поэзіи Жуковскаго—какое-то неопредъленное чувство. Это—

Унынія прелесть, волненье надежды, И радость, и трепеть при встр'яч'я очей, Ласкающій голосъ—души восхищенье, Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ, Присутствія радость, томленье разлуки.

Скажутъ: все это несомнънныя примъты, общіе признаки любви. Согласны; но потому-то и видимъ мы въ этомъ неопредъленность, что это слишкомъ общія примъты. Любовь—обще-человъческое чувство; но въ каждомъ человъкъ оно принимаетъ свой оригинальный оттънокъ, свою индивидуальную особенность,—въ произведенияхъ поэта тъмъ болье. Мы слышимъ въ поэзіи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по не сбывшимся сладостнымъ надеждамъ,—и сочувствуемъ этому горю безъ утъшенія, этой скорби безъ выхода, этому страданію безъ исцъленія; но не видимъ живого голоса, столь дорогого сердцу поэта: для насъ, это—видъніе, призракъ... Въ слъдующихъ стихахъ мы встръчаемъ идеалъ и предмета любви, и самой любви,—идеалъ, созданный нашимъ поэтомъ:

Въ тотъ часъ, какъ тишиною Земля облечена, Въ молчаніи вселенной Одна обвороженной Душѣ она слышна; Къ устамъ твоимъ она Касается дыханьемъ; Ты слышишь съ содроганьемъ Знакомый звукъ рѣчей, Задумчивыхъ очей Встрѣчаешь взоръ пріятный, И запахъ ароматный Плфнительныхъ кудрей Во грудь твою ліется, И мыслишь: ангелъ вьется Незримый надъ тобой. При ней-задумчивъ, сладкой Исполненный тоской, Ты робокъ, лишь украдкой Стремишь къ ней томный взоръ: Въ немъ сердце вылетаетъ;

Несм'яль твой разговоръ; Твой умъ не обр'ятаеть Ни мыслей, ни р'ячей: Задумчивость, молчанье И страстное мечтанье Языкъ души твоей; Забыты вс'я желанья...

Все это очень върно, но только до извъстной степени. Есть пора въ жизни человъка, когда только въ этомъ заключены самыя страстныя желанія его сердца, самые пламенные сны его фантазіи; но эта пора скоро проходить, и сердце человъка загорается новыми желаніями. Юноша не можеть любить, какъ любить отрокъ на переходь въ юношество: его мечты дъйствительные, и стыдливое молчаніе и несм'єлый разговоръ не долго въ состояніи удовлетворять его. Кром'в того, сама любовь, какъ все живое, растетъ, движется, желанія влекуть и стремять за собою другія желанія, и это продолжается до тъхъ поръ, пока любовь не прійметь опредъленнаго характера и любящіеся не прійдуть въ опредъленныя отношенія другъ къ другу. Вообразимъ себъ чету любящихся, которые всю жизнь свою только и делають, что стыдливо потупляють свои взоры, какъ скоро встрътятся, ведуть другь съ другомъ несмълый разговоръ: въдь это была бы довольно странная картина, хотя и обаятельная въ своемъ началъ... Жуковскій въ этомъ отношенін ужъ слишкомъ романтикъ въ смыслъ среднихъ въковъ: ему довольно только носить чувство въ своемъ сердцв, и онъ бережетъ и лелветъ его такимъ, какимъ зашло оно въ его сердце; онъ испугался бы его измъняемости и увидълъ бы въ ней непостоянство... Мы уже разъ замътили въ "Отечественныхъ Запискахъ", что есть натуры, которыхъ вся жизнь-выраженіе какого-нибудь возраста челов'вческаго, и что Крыловъ, въ своихъ басняхъ, — въчно юный младенецъ, а Жуковскій, въ своихъ романтическихъ произведеніяхъ, никогда не старъющійся юноша...

Мы сдълали бы большой недосмотръ, если бъ, говоря о поэзін Жуковскаго, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главнъйшихъ элементовъ всякой романтической ноэзіи и поэзіи Жуковскаго въ особенности! Посмотрите, какія мечты и образы въчно занимаютъ ее! Тамъ "дъва въ черной власяницъ" молится на кладбищъ передъ образомъ Богоматери и непремънно отходитъ въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполнъ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родъ: Дорогой шла дѣвица;
Съ ней другъ ея младой:
Болѣзнены ихъ лица,
Наполненъ взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И въ очи и въ уста—
И сново расцвѣтаютъ
Въ нихъ жизнь и красота,
Минутное веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ келью;
Въ тиръмъ проснулся онъ.

Такое направление поэзін Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человычества, то мірь подлунный для нея есть мірь скорбей безъ исцьленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. Поэтому, въ поэзін Жуковскаго вопли сердечныхъ, мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихою сердечною музыкою, и его поэзія любить и голубить свое страданіе, какъ свою жизнь й свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать п'явцомъ сердечныхъ утратъ, и кто не знаетъ его превосходной элегіи на "Кончину Королевы Виртембергской "-этого высокаго католическаго реквіэма, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и тапиства утрать?... Это въ высшей степени романтическое произведение въ духъ среднихъ въковъ. Оно всегда прекрасно; но если вы хотите насладиться имъ вполиъ и глубоко-прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себъ друга, который раздълитъ съ вами ваше страданіе и дасть сму языкъ и слово...

Всъ сочиненія Жуковскаго можно раздълить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы, и оригинальныя, которыхъ немного, и не столько переведенныя, сколько усвоенныя его музою; потомъ собственно переводы и, наконецъ, оригинальныя произведенія, которыя не могуть быть названы романтическими.

Къ послѣднимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія пьесы, писанныя на извѣстные случаи. Это самая слабая сторона поэзін Жуковскаго; въ ней онъ невъренъ своему призванію, и потому холоденъ и исполненъ ритерики. Прочтите его "Иѣснь Барда надъ гробомъ Славянъ-Побѣдителей", "На Смерть Графа Каменскаго", "Иѣвца во Станъ Русскихъ Воиновъ", "Иѣвца въ Кремлъ" и пр.—и вы не узнаете Жуковскаго. Не смотря на звучный и крѣпкій стихъ, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства,

движенія, свободы. Причина этому, разум'єтся, не отсутствіе въ сердц'є поэта святой любви къ родин'є. Но кто же могъ бы отрицать это чувство, наприм'връ, въ Крылов'в? А, между тымъ, Крыловъ не написалъ ни одной оды, ни одного патріотическаго стихотворенія въ лирическомъ родъ. Онъ получилъ отъ природы талантъ для басни: въ такомъ случав, онъ хорошо сдълалъ, что не писалъ одъ и трагедій. Жуковскій, по натур'в своей—романтикъ, и нячто такъ не вив его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвв основанныя. "Півцу во Станв Русскихъ Воиновъ" Жуковскій обязанъ своєю славою: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта; и это произведеніе было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываетъ это?—только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понпмаютъ ее теперь (а понимали ее тогда, какъ риторику въ стихахъ). Въ "Пъвцъ во Станъ Русскихъ Вопновъ" нътъ даже чувства современной дъйствительности: въ этой пьесъ вы не услышите ни одного выстръла изъ пушки, или изъ ружья, въ ней нътъ и приз-наковъ порохового дыма—въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрълы; генералы являются воинами, не въ киверахъ или фураж-кахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершеню этой пародін на древность, всь они-со щитами... Все это призракъ риторики; ибо поэзія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметовъ дъйствительности, не боится сдълаться отъ нихъ прозою, но поэтизируетъ самыя прозаическія вещи. И неужели жерла пушекъ, изрыгающія огонь и смерть тысячамъ, неужели дула ружей, посылающія издалека в'єрную смерть, неужели трехгранный штыкъ, стальною ствною низнагающій сомкнутые ряды, неужели все это имъетъ въ себъ менъе поэзіи, чьмъ кольчуги, щиты, стрълы и копья древности?.. Напротивъ, послъднія—дътскія игрушки въ сравненіи съ первыми, блъдная проза въ сравнении съ страшною и грандіозною поэзіею. И потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ драмись совсѣмъ не славяне, а русскіе! Скажутъ: но развъ русские не славянскаго племени народъ?-Положимъ, что и такъ; но развъ всъ народы западной Европы не тевтонскаго племени: а кто скажеть, что русскіе дрались подъ Бородинымъ съ тевтонами, на томъ основаніи, что Галлія нѣкогда была завоевана франками, а франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у славянъ? Да сверхъ того бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще, ничего не чужда

до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національныхъ элементовъ. Можетъ быть, это недостатокъ, но въ тоже время и достоинство: если бъ національность составляла основную стихію поэзін Жуковскаго, — онъ не могъ бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими элементами. Поэтому всъ усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство, какъ зрѣлище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится идти по чуждому ему пути.

Лучиня мъста въ нъкоторыхъ патріотическихъ пьесахъ Жуковскаго—ть, въ которыхъ онъ является върнымъ своему романтическому элементу. Таково, напримъръ, въ "Пъвцъ во Станъ Русскихъ Вонновъ":

> Любви сей полный кубокъ въ даръ! Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жаръ: Любовь одно со славой. Куму здесь жребій уделенъ Знать тайну страсти милой, Кто сердцу сердцемъ обреченъ: Тотъ смѣло, съ бодрой силой На все великое летитъ; Нътъ страха, нътъ преграды; Чего, чего не совершитъ Для сладостной награды? Ахъ! мысль о той, кто все для насъ, Намъ спутникъ неизмѣнный: Вездъ знакомый слышимъ гласъ: Зримъ образъ незабвенный; Она на бранныхъ знаменахъ, Она въ пылу сраженья; И въ шумъ стана, и въ мечтахъ Веселыхъ сновидѣнья. Отведай врагь исторгнуть щить, Рукою данный милой; Святой обътъ на немъ горитъ: Твоя и за могилой! О, сладость тайныя мечты! Тамъ, тамъ за синей далью, Твой ангелъ, дева красоты, Одна съ своей печалью Грустить о другь, слезы льеть; Душа ея въ молитвъ, Боится въсти, въсти ждетъ: «Увы! не палъ ли въ битвѣ?» И мыслитъ: «Скоро ль, дружній глас», Твои мив слышать звуки? Лети, лети свиданья часъ, Смѣнить тоску разлуки». Друзья! блаженнъйшая часть: Любезнымъ быть спасеньемъ. Когда жъ предълъ нашъ въ битвъ пасть-Погибнемъ съ наслажденьемъ; Святое имя призовемъ

Въ минуту смертной муки; Къмъ мы дышали въ міръ семъ, Съ той нътъ и тамъ раздуки: Туда душа перенесетъ Любовь и образъ милой... О други, смерть не все возьметъ; Есть жизнь и за могилой.

Слъдующее мъсто есть не что иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ въковъ, какъ будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?.. Довъренность Творцу? Что бъ ни было-незримый Ведетъ насъ къ лучшему концу Стезей непостижимой. Ему, друзья, отважно въ слѣдъ! Прочь низкое! прочь злоба! Духъ бодрый на дорогь бъдъ, До самой двери гроба; Въ высокой долѣ-простота, Нежадность въ наслажденьи, Въ союзъ съ равнымъ-правота, Въ могуществъ - смиренье; Обътамъ – въчность; чести — честь; Покорность-правой власти; Для дружбы все, что въ мірѣ есть; Любви-весь пламень страсти; Успѣха-скорби; просьбъ-дань; Погибели - спасенье; Могущему пороку-брань, Безсильному – презрънье; Неправдъ-грозный правды гласъ; Заслугъ воздаянье; Спокойствіе въ послѣдній часъ; При гробъ-упованье.

Посланія—странный родъ, бывшій въ большомъ употребленіи у русской поэзіи до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главная характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковскаго отличаются отъ другихъ хорошими стихами, и не чужды прекрасныхъ мъстъ въ романтическомъ духъ. Таковы, напр., слъдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу ль? мнѣ ужасовъ могила не являетъ: И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ, Чтобъ Промысла рука обратно то взяла, Чѣмъ я безрадостно въ семъ мірѣ бременился, Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился, Которую давно надежда не златитъ. Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ, Считаю ль радости минувшаго—какъ мало! Нѣтъ! счастье къ бытію меня не пріучало; Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.

Едва въ душ'в моей для дружбы я созр'влъ-И что же! предо мной увядшаго могила; Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила; Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту, Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ разд'вленья И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнъ замъчательны: они исполнены бокаго чувства; въ нихъ слышится воиль души,--и они ваютъ фактически, что не Пушкинъ, а Жуковскій первый Руси выговориль элегическимъ языкомъ жалобы человъка на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковскій быль первымъ поэтомъ Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. Какая разница въ этомъ отношеній между Державинымъ п Жуковскимъ! Поэзія Державина столько же безсердечна, сколько сердечна поэзія Жуковскаго. Оттого торжественность и высокопарность сдълались преобладающимъ характеромъ ноэзін Державина, тогда какъ скорбь и страданія составляють душу поэзін Жуковскаго. До Жуковскаго на Руси никто и не подозрѣвалъ, чтобъ жизнь человъка могла быть въ тъсной связи съ его поэзіею, и чтобъ произведенія поэта могли быть вивств и лучшею его біографіею. Тогда люди жили тому что жили внъшнею жизнію и въ себя не заглядывали глубоко.

> Пой, пляши, кружись, Параша! Руки въ боки подпирай!

восклицаль Державинъ.

Прочь отъ насъ Катонъ, Сенека, Прочь угрюмый Эпиктетъ! Безъ утѣхъ для человѣка Пустъ, несносенъ былъ бы свѣтъ!

восклицалъ Дмитріевъ. Эти пѣвцы иногда умѣли плакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковскій, какъ поэтъ по преимуществу романтическій, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣною тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на днѣ своего растерзаннаго сердца, во глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланіи къ Тургеневу мы встръчаемъ столь же поразительное мъсто, какъ и то, которое сейчасъ выписали изъ посланія къ Филалету:

> . . . И мы въ сей край незримый Летимъ душой за милыми во слѣдъ, Но къ намъ отъ нихъ желанной вѣсти нѣтъ;

Лишь тайное живеть въ насъ ожиданье... Когда жъ, когда?. Другъ милый, упованье! Гробами ихъ рубежъ означенъ тотъ, На коемъ насъ свободы геній ждеть Съ спокойствіемъ, безчувстіемъ, забвеньемъ. Пришедъ туда, о другь, съ какимъ презръпъемъ Мы бросимь взорь на жизнь, на гнусный свыть, Гдт милому одинь минутный ивттъ. Гдп доброму слидовь ко счастью инть. Гды мныне надъ совыстью властитель, Гдп все, мой другь, иль жертва, иль пубитель!... Дай руку, братъ! какъ знать, куда нашъ путь Насъ приведетъ, и скоро ль онъ свершится, И что еще во мглъ судьбы таится-Но дружба намъ звъздой отрады будь; О прочемъ здѣсь останемся безпечны; Намъ счастья пътъ: за то и мы-не въчны.

Въ посланіяхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встрѣчаются, кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ, напр., въ посланіи (121—139 стр. 2-го тома) встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бѣдствія земныя положилъ Онъ свѣтлозарную печать благотворенья! Ниспослаемый имъ ангелъ разрушенья Вэрываетъ, какъ бразды, земныя племена, Въ нихъ жизни свѣжія бросаетъ сѣмена, И, обновленныя, пышнѣе расцвѣтаютъ! Какъ бури въ зной поля, бѣды ихъ возрждаютъ!

Въ слѣдующемъ за тѣмъ посланіи встрѣчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россіи:

Тебъ его младенческія лъта! Отъ ихъ пеленъ ко входу съ бури свъта Пускай тебѣ во слѣдъ онъ перейдетъ Съ душой, на все прекрасное готовой; Наставленный: достойнымъ счастья быть, Великое съ величіемъ сносить, Не трепетать, встръчая рокъ суровый, И быть въ дълахъ временъ своихъ красой, Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой, Откинувши младенчества забавы, Онъ полетитъ въ путь опыта и славы... Да встрътитъ онъ обильный честью въкъ! Да славнаго участникъ славный будетъ! Да на чредъ высокой не забудетъ Святьйшаго изъ званій: человика! Жить для въковъ въ ведичи народномъ, Для блага вспхъ-свое позабывать, Лишь въ голосв отечества свободномъ Съ смиреніемъ дѣла свои читать: Вотъ правила царей великихъ внуку. Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго особенно замьчательны "Теонъ и Эсхинъ" и баллада "Узникъ", если тслько они—его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи "сочиненій Жуковскаго" только при немногихъ переводныхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ-подъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродилъ по св'єту за счастіемъ—оно уб'єгало его:

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ— Лишь сердце они изнурили; Цвътъ жизни былъ сорванъ; увяла душа: Въ ней скука смънила надежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ-

Все тѣ жъ берега и поля и холмы, И то же прекрасное небо; Но гдѣ жъ озарившая нѣкогда ихъ Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходить онь къ другу своему Теону,—тоть сидъль въ раздумьи на порогъ своей хижины, въ виду гроба изъ бълаго мрамора; друзья обнялись; лицо Эсхина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбенъ, но ясенъ. Эсхинъ говорить объ обманывающей сердце мечтъ, о счасти, и спрашиваетъ друга—не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указалъ, вздыхая, на гробъ.. «Эсхинъ, вотъ безмолвный свидътель, Что боги для счастья послали намъ жизнь-Но съ нею печаль неразлучна. О нътъ, не ропщу на Зевесовъ законъ: И. жизнь, и вселенна прекрасны, Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ ложныхъ мечтахъ Я видълъ земное блаженство. Что можетъ разрушить въ минуту судьба, Эсхинъ, то на свътъ не наше; Но сердца нетлѣнныя блага: любовь И сладость возвышенныхъ мыслей -Вотъ счастье; о другъ мой, оно не мечта. Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ; Любовью моя освятилась душа, И жизнь въ красотъ мнъ предстала. При блескъ возвышенныхъ мыслей я зрълъ Яснѣе великость творенья; Я върилъ, что путь мой лежитъ по землъ тъ прекрасной, возвышенной цели. Увы! я любилъ... и ея ужъ нѣтъ! Но счастье, вдвоемъ, столь живое, Навъки ль исчезло? И прежије дни Вотще ли столь были прелестны? О, ивтъ: никогда не погибнетъ ихъ следъ;

Для сердца прошедшее вѣчно, Страданье въ разлукѣ есть та же любовь;

Надъ сердцемъ утрата безсильна. И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ, Обътъ неизмънной надежды, Что гдь-то въ знакомой, но тайной странь, Погибшее намъ возвратится? Кто разъ полюбилъ, тотъ на свътъ, мой другъ, Уже одинокимъ не будетъ.. Ахъ, свътъ, гдъ она предо мною цвъла--Онъ тотъ же: все ем онъ полонъ. По той же дорогъ стремлюся одинъ, И къ той же возвышенной цѣли, Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ-Сихъ узъ не разрушитъ могила. Сей мыслью высокой украшена жизнь; Я взоромъ смотрю благодарнымъ На землю, гдъ столько разсыпано благъ, На полное славы творенье, Спокойно смотрю я съ земли рубежа На сторону лучшія жизни; Сей сладкой надеждою міръ озаренъ, Какъ небо сіяньемъ авроры. Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы, И жизнь миъ земная священна; При мысли великой, что я человикъ, Всегда возвышаюсь душою А этотъ безмолвный, таинственный гробъ. О, другъ мой, онъ върный свидътель, Что лучшее въ жизни еще впереди, Что вприо желанное будетъ; Сей гробъ затворенная къ счастію дверь; Отворится... жду и надъюсь! За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня, На мигъ мнѣ явившійся въ жизни. О, другъ мой, искавъ измъняющихъ благъ, Искавъ наслажденій минутныхъ, Ты върныя блага утратилъ свои -Ты жизнь презирать научился. Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свътъ; Дай руку: близъ върнаго друга, Съ природой и жизнью опять примирись; О, върь мнъ, прекрасна вселенна! Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ: Все въ жизни къ великому средство; И горесть и радость-все къ цъли одной: Хвала жизнодавцу Зевесу!

На это стихотвореніе можно смотр'єть, какъ на программу всей поэзіи Жуковскаго, какъ на положеніе основныхъ принциповъ ея содержанія. Всё блага жизни нев'єрны: стало быть, благо внутри насъ; здёсь все проходить и изм'єняетъ намъ: стало быть, неизм'єнное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого сл'єдуеть, чтобъ мы здёсь сид'єли сложа руки, ничего не д'єлая, пытаясь высокими мыслями и благородными чувствованіями!.. Это односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблужденіе ультра-романтизма.. Какимъ образомъ челов'єкъ можетъ идти "къ

прекрасной, возвышенной цъли", стоя на одномъ мъстъ и бесъдуя трекрасной, возвышенной цьли, стоя на одноять мьсть и оссъдуя съ самимъ собою о лучшей жизни, на порогъ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?... И неужели эта "прекрасная, возвышенная цьль" есть только лучшее счастіе человъка, а личное счастіе человъка только въ любви къ женщинъ?... О, если такъ, то, по закону совпаденія крайностей, эта любовь есть величайшій эгоизмъ!... Смерть—дъло слъпого случая—похитила у насъ ту, которой обязаны были нашимъ земнымъ счастіемъ: не будемъ приходить въ отчаяніе—да и для чего?—вѣдь это только временная разлука; вѣдь скоро мы опять женимся на ней—тамъ; сядемъ же на порогъ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться "полнымъ славы твореніемъ, красотою вселенной, и будемъ утвшать себя мислію, что все дано намъ небомъсъ бытіемъ, и все въ жизни—средство къ великому, и что горе и радость—все къ одной цъли!" Нътъ, и еще разъ—нътъ! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и праведно требованіе челов'я на личное счастіє; разумно и естественно его стремленіе къ личнону счастію; но въ одномъ ли сердц'я долженъ заключаться весь міръ его счастія? Вотъ вопросъ, на который не даетъ намъ р'єшенія поэзія Жуковскаго. Если бъ вся цъль нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастіи, а наше личное счастіе заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дъйствительно мрачною пустынею, заваленною гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшною существенностію котораго поблъднъли бы поэтическіе образы земного ада, начертанные геніемъ суроваго Данте... Но—хвала въчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человъка и еще великій міръ жизни, кромъ внутренняго міра сердца—міръ историческаго созерцанія и общественной дъятельности, — тотъ великій міръ, гдѣ мысль становится дѣломъ, а высокое чувствованіе — подвигомъ, — и гдѣ два противоположные берега жизни — з дѣсь и тамъ — сливаются въ одно реальное небо историческаго прогресса, историческаго безсмертія... Это міръ неисторическаго прогресса, историческаго оезсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго дѣланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, —и надъ этимъ міромъ носится Духъ Божій, оглашающій хаосъ и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: "да будетъ!" и вызывающій имъ свѣтлое торжество настоящаго — радостные дни новаго тысячелѣтняго царства Божія на землѣ. И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрѣлъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизни, кто видѣлъ

въ немъ не одни обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны, да мрачную, лишь молніями осв'єщенную ночь, кто слышаль въ немъ не одни вопли отчаянія и крики гибели, но кто не терялъ при этомъ изъ вида и путеводной звъзды, указывающей на цъль борьбы и стремленія, кто не быль глухъ къ голосу свыше: "борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты - братья твои насладятся имъ и восхвалять въчнаго Бога силь п правды! " Благо тому, кто, не довольствуясь настоящею дъйствительностью, носиль въ душть своей идеалъ лучшаго существованія, жиль и дышаль одною мыслію—спосившествовать, по мірів данныхъ ему природою средствъ, осуществлению на землъ идеала,--рано по утру выходиль на общую работу и съ мечемъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлою, смотря по тому, что было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братіямъ не на одни пиры веселія, но и на плачь и сътованія... Благо тому, кто, падая въ борьбъ за святое дъло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успоконтельное лоно силы, вызывавшей его на дело жизни, и восклицаль въ священномъ сторгъ: "все тебъ и для тебя, а моя высшая награда—да святится имя твое и да пріидеть царствіе твое "?...

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической дѣятельности, источникъ которой заключался бы въ паюссѣ къ идеѣ, самый богатонадѣленный дарами природы человѣкъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустотѣ мечтательныхъ ожиданій и дѣйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и живого отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

"Узникъ" — одно изъ самыхъ благоуханныхъ романтическихъ произведеній Жуковскаго. Заключенный въ тюрьмѣ юноша слышитъ за стѣною голосъ, такой же, какъ онъ самъ, узницы:

«Итакъ всв блага замвнить Могилой;
И бросить свътъ, когда въ немъ жить Такъ мило;
Ахъ, дайте въ свътъ подышать;
Еще мнъ рано умирать.
Лишь мигъ весеннимъ бытіемъ Жила я;
Лишь мигъ на праздникъ земномъ Была я;
Душа готовилась любить...
И все покинуть, все забыть!»

Юноша сжился душою съ узницею, которой онъ никогда не видалъ. Въ ней вся жизнь его, и онъ не проситъ самой воли. И что нужды, что онъ никогда не видалъ ея, что она для него—не болъе, какъ мечта? Сердце человъка умъетъ обманывать и себя, и разсудокъ, особенно если съ нимъ вступитъ въ союзъ фантазія. Нашъ узникъ не хочетъ и знать, что-бъ заговорило сердце его тогда, когда глаза его увидъли бы таинственную узницу.

«Не ты ль—онъ мнитъ—давно была Любима?
И не тебя ль душа звала, Томима
Желанья смутнаго тоской, Волненьемъ жизни молодой?
Тебя въ пророчественномъ снѣ Видалъ я;
Тобою въ пламенной веснѣ Дышалъ я;
Ты мнѣ цвѣла въ живыхъ цвѣтахъ:
Твой образъ вѣялъ въ облакахъ».

Молодая узница умерла въ своей тюрьмъ; узникъ былъ освобожденъ;—

Но хладно приняль онъ привѣтъ , Свободы: Прекраснаго ужъ въ мірѣ нѣтъ. Дни, годы Напрасно будутъ проходить... Погибшаго не возвратить.

Погибшаго не возвратить. И тихо въ сумракѣ ночей Онъ бродитъ, И съ неба темнаго очей Не сводитъ: Звѣзда знакомая тамъ есть; Она къ нему приноситъ въсть.. О миломъ въсть и въ міръ иной Призванье... И делить съ тайной онъ звездой Страданье; Ея краса оживлена: Ему въ ней свътится она. Онъ таялъ, гаснулъ и угасъ... И. мнилось, Что вдругъ въ передпослѣдній часъ Явилось

Все то, чего душа ждала— И жизнь въ улыбкѣ отошла...

"Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ-царевичѣ, о хитростяхъ Кощея беземертнаго и о премудростяхъ Марьи Царевны, Кощеевой дочери" и "Сказка о спящей царевнѣ" были весьма неудачными попытками Жуковскаго на русскую народность. О нихъ пикакимъ образомъ нельзя сказать:

District Control

Здёсь русскій духъ, здёсь Русью пахнетъ.

Вообще-быть народнымъ значило бы для Жуковскаго отказаться отъ романтизма, — а это для него было бы все равно, что отказаться отъ своей натуры, отъ своего духа, словомъ-отъ самого себя. Въ "Громобов" Жуковскій тоже хотвль быть народнымъ, но, на перекоръ его воль, эта русская сказка у него обратилась какъ-то въ нѣменкио-что-то въ родѣ католической легенды среднихъ вѣковъ. Лучшія мъста въ ней-романтическія, какъ напр., это:

> Увы! пора любви придетъ: Вамъ сердце тайну скажетъ, Для васъ украситъ Божій свѣтъ, Вамъ милаго покажетъ; И взоръ наполнится тоской, И тихимъ грудь желаньемъ, И, распаленныя душой, Влекомы ожиданьемъ, Для васъ взойдетъ краснъе день, И будеть лугь душистый, И сладостнъй дубровы тънь И птичка голосистъй.

"Вадимъ" весь преисполненъ самымъ неопредвленнымъ романтизмомъ. Этотъ "новгородскій рыцарь" ѣдетъ, самъ не зная куда, руководимый таинственнымъ звонкомъ... Онъ долженъ стремиться къ небесной красоть, не обольщаясь земною. И воть, для обольщенія его, предстала ему земная красота въ образъ кіевской княжны...

> Лазурны очи опустя, Въ объятіяхъ Вадима, Она, какъ тихое дитя, Лежала недвижима; И что съ невинною душой Сбылось-не постигала; Лишь сердце билось, и порой Вся вспыхнувъ, трепетала; Лишь пламень гаснущій сіялъ Сквозь тень ресницъ склоненныхъ, И вздохъ невольный вылеталъ Изъ устъ воспламененныхъ. А витязь?... Что съ его душой?... Увы! сихъ взоровъ сладость, Сихъ чистыхъ, подъ его рукой Горящихъ перс й младость, И мягкій шолкъ кудрей густыхъ, По раменамъ разлитыхъ, И свъжій блескъ ланитъ младыхъ, И устъ полуоткрытыхъ Палящій жаръ и тихій гласъ, И милое смятенье, И ночи таинственный часъ, И вкругъ уединенье

Все чувства разжигало въ немъ... О, власть очарованья! Уже, исполнены огнемъ Кипящаго лобзанья, На дъвственныхъ ея устахъ Его уста горъли, И жарче розы на щекахъ Дрожащей девы рдели; И все... но вдругъ смутился онъ, И въ радостномъ волненьи Затрепеталъ... знакомый звонъ Раздался въ отдаленьи, И долго жалобно звенѣлъ Онъ въ безднѣ поднебесной; И кто-то, чудилось, летълъ Незримый, но извистиый; И взоръ, исполненный тоской, Мелькалъ сквозь покрывало; И подъ воздушной пеленой Печальное вздыхало.. Но вдругъ сильней потрясся лесъ, И небо зашумъло... Вадимъ взглянулъ-призракъ исчезъ; А въ вышинъ... звенъло. И вслѣдъ за милою мечтой Душа его стремится...

Колокольчикъ, какъ видите, зазвенъть очень кстати... Вадимъ отказался отъ кіевской княжны, а вмъсть съ нею и отъ кіевской короны, освободилъ двънадцать спящихъ дъвъ, и на одной изъ нихъ женился. Но что было потомъ, и кто эти дъвы, и что съ ними стало — все это осталось для насъ такою же тайною, какъ и для самаго поэта... Право, намъ кажется, что напрасно отказался Вадимъ отъ кіевской княжны. Это напоминаетъ намъ фантастическую сказку Гофмана "Золотой горшокъ": тамъ студентъ Ансельмъ, цъною многихъ лишеній и сумасбродствъ, добивается до неизръченнаго блаженства обнять, вмъсто женщины—змъю, которая, какъ ловкая, увертливая змъя, и ускользаетъ изъ его рукъ... Вадимъ, кажется, обнялъ еще меньше, чъмъ змъю, обнялъ—мечту, призракъ. Но зато онъ былъ въренъ до гроба своей мечтъ... И то не малое утъшеніе!...

Содержаніе "Ундины" взято Жуковскимъ изъсказки Ламота-Фукэ; но въстихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. "Ундина" одно изъсамыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея—олицетвореніе стихійной силы природы. Ундина—дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ искусно нашъ поэтъ умъль слить фантастическій міръсъ дъйствительнымъ міромъ и сколько заповъдныхъ тайнъ сердца умъльонъ разоблачить и высказать вътакомъ сказочномъ произведенія. По красотамъ поэтическимъ, "Ундина" есть такое созданіе, которое требовало бы подробнаго разбора, и потому мы ограничимся указаніемъ на одно изъсамыхъ романтическихъ мъсть этой поэмы:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ сожалѣнію, иль къ счастью, что наше
Торе земное не надолго! Здѣсь разумѣю я горе
Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливаетъ
Насъ воедино, которымъ утрата для насъ не утрата,
Смерть—вдвоемъ бытіе, а жизнь – порывъ непрестанный
къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча
предъ иконою,

Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ Все не та подъ-конецъ, какою была при началѣ, Полная, чистая; много много, чужого Между утратою нашей и нами уже протъснилось, Вотъ, пакогсиъ, и есю измъпнемостъ здъшнято въ самой Нашей печали мы видимъ .. итакъ, скажу къ сожалѣнью, Наше горе земное не надолго...

Эта поэма принадлежить къ позднъйшимъ произведеніямъ Жу-ковскаго, а оттого ся романтизмъ какъ-то сговорчивъе и дъластъ болье уступокъ разсудку и дъйствительности...

Не будемъ распространяться о достоинствъ перевода "Орлеанской Дъвы" Шиллера: это достоинство давно и всеми единодушно признано. Жуковскій своимъ превосходнымъ переводомъ усвоилъ русской литературъ это прекрасное произведение. И никто, кромъ Жуко вскаго, не могъ бы такъ передать этого по преимуществу романтическаго созданія Шиллера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковскій не быль бы въ состоянін такъ превосходно передать на русскій языкъ, какъ превосходно передалъ онъ "Орлеанскую Лѣву".—Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ долженъ поставить переводъ балладъ Шиллера: "Рыцарь Тогенбургъ", "Ивиковы Журавли", "Кассандра", "Графъ Габсбургскій", "Поликратовъ Перстень", "Кубокъ", и пьесы Шиллера же---"Горная дорога"; все это переведено превосходно.--Но если что составляеть истинный ореоль Жуковскаго, какъ переводчикаэто его переводъ слъдующихъ трехъ пьесъ Шиллера: "Торжество Побъдителей", "Жалоба Цереры" и "Элевзинскій Праздникъ". Если бъ, кром'в этихъ пьесъ, Жуковскій ничего не перевель, ничего не написалъ, — и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

"Торжество Поб'ёдителей" есть одно изъ величайшихъ и бла городн'ёйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ геній этого поэта являет ся съ лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствие ея было воспитано и развито на исторической почвъ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ красноръчиво оплакалъ нападение ея боговъ, онъ съ такою страстию говорилъ о ея искусствъ, ея гражданской доблести, ея мудрости. И нигдъ съ такою полнотою и такою силою не выразилъ онъ, не воспроизвель поэтического образа Эллады, какъ въ "Торжествъ Побъдителей". Эта пьеса есть аповеозъ всей жизни, всего духа Греціи: эта пьеса—вмъсть и поэтическая тризна, и побъдная пъснь въ честь отечества боговъ и героевъ. Она написана въ греческомъ духъ, облита свътомъ мірообъемляющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говорить не оть себя: онь воскресиль Элладу и заставиль ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедін слиты въ этой пьесъ Шиллера съ возвышенною п кроткою скорбью греческой эдегіп. Въ ней видится и св'ятлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Анда, и земля, съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностію, —и царящая надъ всёми ими мрачная Судьба, верховная владычица и боговъ, и смертныхъ... Нельзя шире и върнъе воспроизвести нравственной физіономіи народа, уже не существующаго столько тысячелѣтій.

Побѣдоносные греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трон въ свое отечество и собрались къ острогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувшаго, Калхасъ приноситъ жертву богамъ.

Судъ оконченъ: споръ рѣшился, Прекратилася борьба; Все исполнила судьба— Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ гороевъ, участвовавшихъ въ великомъ событіи паденія "священнаго Пріамова града", высказывается какимъ-нибудь сужденіемъ, примѣненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится миромъ, возвратившись въ свой домъ, и пощаженный богомъ войны часто падаетъ жертвою вѣроломства жены. Менелай говоритъ о неизбѣжномъ судѣ всевидящаго Кронида, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Оленда:

Пусть веселый взоръ счастливыхъ (Оилеевъ сынъ сказалъ) Зритъ въ богахъ боговъ правдивыхъ; Судъ ихъ часто слъпъ бывалъ: Сколько добрыхъ жизнь поблекла! Сколько низкихъ родъ щадитъ!.. Нътъ великаго Патрокла; Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчасъ же, по свойству всеобъемлющаго и многосторонняго духа греческаго, разръшается въвеселое и свътлое созерцаніе:

Смертный, вѣчный Дій Фортунѣ Своенравной предалъ насъ; Уловляй же быстрый часъ, Не тревожа сердца втунѣ.

Вообще, эти четверостишія, слѣдующія за каждымъ куплетомъ, напоминають собою хоръ изъ греческой трагедіи. Олеидъ продолжаєть;

Лучшихъ бой похитилъ ярый! Въчно памятенъ намъ будь, Ты, мой братъ, ты, подъ удары Подставлявшій твердо грудь, Ты, который насъ пожаромъ Осажденныхъ защитилъ... Но коварнъйшему даромъ Щитъ и мечь Ахилловъ былъ. Миръ тебъ во мглъ Эрева! Жизнь твою не прахъ пожалъ; Ты своею силой палъ, Жертва гибельнаго гнъва.

Воспоминаніе объ Ахиллѣ дышитъ всею полнотою греческаго созерцанія геропзма:

О Ахиллъ! о мой родитель (Возгласилъ Неонтолемъ) Быстрый міра посѣтитель, Жребій лучшій взялъ ты въ немъ. Жить въ любви племенъ дплами— Благо первое земли; Будемъ славны именами Й сокрытые въ пыли!

Слава дней твоихъ нетлѣнна. Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она: Жизнь живущихъ не върпа, Жизнь отжившихъ пеизмъппа!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго (du sublime) въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велить умолкнуть злобь (Діомедъ провозгласиль), пава Гектору во гробь! Онь краса Пергама быль: Онь за край, гдь жили дъды, Веледушно пролиль кровь; Побъдвини — честь побъды! Охраняему — любовь!

Кто, на судъ явясь кровавый, Славно палъ за отчій домъ: Тотъ, почтенный и врагомъ, Будетъ жить въ преданьяхъ славы!

Но что можетъ сравниться съ этою трогательною, этою умиляющею душу картиною "убъленнаго жизнію" Нестора, съ словами кроткаго утъшенія подающаго кубокъ страждущей Гекубъ! Здъсь, въ ръзкой характеристической чертъ схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторъ, жизнью уб'вленный, Нац'вдилъ вина фіалъ, И Гекуб'в сокрушенной Дружелюбно выпить далъ. Пей страданій утоленье, Добрый вакховъ даръ вино: И веселость, и забвенье Проливаетъ въ насъ оно;

Ней, страдалица! печали Утоляются виномъ: Боги жалостные въ немъ Подкръпленье сердцу дали. Вспомни матерь Нюбею:

Что извъдала она! Сколь ужасная надъ нею Казнь была совершена! Но и съ нею, безотрадной, Добрый Вакхъ не даромъ былъ, Онъ струею виноградной Въ мигъ тоску въ ней усыпилъ.

Если грудь виномъ согрѣта И въ устахъ вино кипитъ— Скорби наши быстро мчитъ Ихъ смывающая Лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: пророчество Кассандры намекаетъ на перемѣнчивость участи всего подлуннаго и на горе, ожидающее самихъ побѣдителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра, Внявъ шепнувшимъ ей богамъ, На пустынный брегъ Скамандра, На дымящійся Пергамъ. Все великие земное Разлетается, кикъ дымъ: Ныпъ жребій выпаль Троп, Завтра выпадаетъ другимъ.

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать высокую ивснь раздирающимъ душу диссонансомъ; богатая и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себъ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонію и примиреніе съ жизнью,—и потому пьеса Шиллера достойно заключается утвшительнымъ обращеніемъ отъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный, силь, насъ гнетущей, Покоряйся и терпи! Спящій въ гробп, мирно спи! Жизнью пользуйся, живущій!

Такой быль греческій романтизмъ: на гробахъ и могилахъ загоралась для него въчная заря жизни, несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывали отъ его глубокаго и широкаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей полноты общаго; на веселыхъ пиршествахъ ставилъ онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти, и, глядя на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробѣ, мирно спи! Жизнью пользуйся, живущій!

Смерть для грека являлась не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, но прекраснымъ, тихимъ, успокоительнымъ геніемъ сна, кротко и любовно умежавшимъ навѣки утомленныя страданьемъ и блаженствомъ жизни очи...

Переводъ Жуковскаго "Торжества Побъдителей" есть образецъ превосходныхъ переводовъ, —такъ что если, при тщательномъ сравненіи, иныя мъста окажутся не вполнъ върно, или не вполнъ сильно переданными, —зато еще болье найдется мъстъ, которыя въ переводъ сильнъе и лучше выражены. Такъ, наприм., у Шиллера сказано просто: "И въ дикое празднество радующихся примъшивали онъ (плънныя жены и дъвы троянскія) плачевное пъніе, оплакивая собственныя страданія п паденіе царства". У Жуковскаго это выражено такъ:

И съ побъдной пъснью дикой Ихъ сливался тихій стонъ По тебп, святой великой, Невозвратный Иліонъ.

"Жалобы Цереры"—тоже одно изъ величайшихъ созданій Шиллера—передана по русски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и "Торжество Побъдителей". Въ этой пьесъ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ эливзинской Цереры—нъжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери

своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкою подземнаго царства, суровымъ Андомъ.

Сколь завидна мий печальной Участь смертныхъ матерей! Легкій пламень погребальной Возвращаетъ имъ дѣтей; А для насъ, боговъ нетлѣнныхъ, Что усладою утратъ? Насъ, безрадостно-блаженныхъ, Парки строгія щадятъ... Парки, парки поспѣшите Съ неба въ адъ меня послать; Правъ богини ие щадите: Вы обрадуете матъ.

Въ поэтическомъ образъ брошениаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стиксовой струей, а листъ выходить въ областъ неба и живетъ лучами Аполлона,—въ этомъ дивно-поэтическомъ образъ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сдълалъ самый поэтическій намекъ на скорбь и утьшеніе божественной матери: этотъ корень, ищущій ночной тьмы и питающійся стиксовою водою, и этотъ листъ, радостно рвущійся на свътъ и подымающійся къ небу—

Ими таинственно слита Область тьмы съ страною дня, И приходитъ отъ Коцита Милой въстью отъ меня; И ко мнъ въ живомъ дыханъъ Молодыхъ цвътовъ весны Иодымается признанье, Гласъ родной изъ глубины; Онъ разлуку услаждаетъ, Онъ душъ моей твердитъ, Что любовь не умираетъ И въ отшедшихъ за Коштъ.

Сколько скорбной и умилительной любви въ этомъ обращении романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго сердцакъ цвътамъ:

О, привътствую васъ, чада Расцвътающихъ полей! Вы тоски моей услада, Образъ дочери моей! Васъ налыо благоуханьемъ, Напою живой росой, И съ авроринымъ сіяньемъ Поравняю красотой; Пусть весной природы младость, Пусть осенній мракъ полей И мою въщаетъ радость И печаль души моей!

Въ "Элевзинскомъ Праздникъ" Шиллера есть опять поэтическая апоосоза Цереры; но здъсь эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ "Жалобъ Цереры" эта богиня является представительницею греческаго романтизма; въ "Элевзинскомъ Праздникъ" она является божествомъ бла отворно дъятельнымъ—очеловъчиваетъ и одухотворяетъ подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледълю, соединяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, низводитъ къ нимъ ремесла и искусства и посъваетъ между ними съмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Въроятно увлеченный Шиллеровскимъ созерцаніемъ великаго міра греческой жизни, Жуковскій и еамъ написалъ пьесу въ этомъ же родѣ—"Ахиллъ". Въ ней есть прекрасныя мѣста; но вообще въ греческое созерцаніе Жуковскій внесъ слишкомъ много своего,—и тонъ ея выраженія сдѣлался оттого гораздо болѣе унылымъ и расплывающимся, нежели сколько слѣдовало бы для пьесы, которой содержаніе взято изъ греческой жизни и которая написана въ греческомъ духѣ. Равнымъ образомъ, къ недостаткамъ этой пьесы принадлежитъ еще и то, что она больше растянута, чѣмъ сжата, а потому утомляетъ въ чтеніи. Но, не смотря на то, въ ней есть красоты, иногда напоминающія пьесы Шиллера въ этомъ родѣ, и вообще "Ахиллъ" Жуковскаго—одно изъ замѣчательныхъ его произведеній.

Какъ романтикъ по натуръ, Шиллеръ созерцалъ греческую жизнь съ ея романтической стороны,—и вотъ причина, почему многіе недальновидные критики не хотъли въ его произведеніяхъ греческаго содержанія видъть върное воспроизведеніе духа Эллады; но это уже была вина ихъ, недальновидныхъ критиковъ, а не вина Шиллера. Вольно же было имъ и не подозръвать, что въ Греціи былъ свой романтизмъ! Жуковскій—тоже, какъ романтикъ по натуръ, былъ въ состояніи превосходно передать пьесы Шиллера греко-романтическаго содержанія. По этой же причинъ, его переводы такихъ піссъ Гёте болье неудачны, чъмъ удачны: ссылаемся на "Мою Богиню" (т. VI, стр. 65). Это понятно: Гете смотръль на Грецію совсьмъ съ другой стороны, нежели Шиллеръ; послъдній болье видълъ ея внутреннюю, романтическую сторону; Гете—видълъ больше ея опредъленную. свътлую олимпійскую сторону. Оба великіе поэта смотръли върно на Грецію, каждый видя разныя, но ея же собственныя стороны. Когда же Гете сходился съ Шиллеромъ въ созерцаніи греческой жизни (какъ, напримъръ, въ

"Прометев" и "Кориноской Невъсть"), — онъ отыскивалъ въ немъ и выражаль болье философскую его сторону. И въ этомъ отношенін Гёте быль верень своему духу. Романтическое направленіе Жуковскаго совершенно вив сферы Гетева созерцанія, и потому Жуковскій мало переводиль изъ Гете, и все переведенное или заимствованное изъ него перемънялъ по-своему, за исключениемъ только чисто-романтическихъ въ духѣ среднихъ вѣковъ пьесъ Гете, каковы, напримъръ, баллады: "Лъсной Царь" и "Рыбакъ". И если талантъ Жуковскаго, какъ переводчика, совершенно внѣ сферы поэзін Гёте-отсюда нисколько еще не следуеть, чтобъ причиною этого была высота генія Гете. Жуковскій переводиль же превосходно Шиллера,—а геній Шиллера ничѣмъ не ниже генія Гете. Вообще, мысль-считать Шиллера ниже Гете-и нельпа, и устарвла. Жуковскій—необыкновенный переводчикъ, и потому именно способенъ върно и глубоко воспроизводить только такихъ поэтовъ и такія произведенія, съ которыми натура его связана родственною симпатіею.

"Идеалы" Шиллера переведены не совсѣмъ удачно. Переводъ этотъ относится къ первой порѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго. Ужъ одно то, что, переводя эту пьесу, онъ перемѣнилъ названіе ея "Идеалы" на "Мечты",—одно ужъ это доказываетъ, какъ не глубоко вникъ онъ въ мысль ея. Многіе стихи въ этой пьесѣ просто нехороши; многія выраженія лишены точности и опредѣленности. Вотъ, для доказательства, цѣлый куплетъ:

И неестественнымъ стремленьемъ Весь міръ въ мо тівснился грудь; Картиной, звукомъ, выраженьемъ, Во все я жизнь хотілъ вдохнуть. И, въ проклом съмени сокрытой, Сколь мышнымъ мив казался свять... Но ахъ, сколь мало въ немъ разеито! И малое—сколь бидный цвтъ!

Какъ-то чувствуется само собою, что, виѣсто "выраженьемъ", надобыло поставить "словомъ"; послѣдніе четыре стиха такъ неловки, что едва-едва можно догадаться о мысли Шиллера.

Другимъ образомъ, но такъ же неудачно переведена пьеса Байрона, начинающаяся, въ переводѣ, стихомъ: "Отымаетъ наши радости". Жуковскій далъ ей совсѣмъ другой смыслъ и другой колоритъ, такъ что Байроновскаго въ ней ничего не осталось, а замѣненнаго переводчикомъ, послѣ даже прозапческаго, но вѣрнаго

перевода, нельзя читать съ удовольствіемъ. Вотъ самый близкій прозаическій переводъ пьесы Байрона:

Нѣтъ радостей, какія можетъ дать намъ міръ, въ замѣну тѣхъ, которыя онъ отнимаетъ у насъ въ то время, когда ужъ жаръ первыхъ мыслей остываетъ въ печальномъ увяданіи чувствъ. Не одна только свѣжесть ланитъ вянетъ скоро,—нѣтъ, свѣжій румянецъ сердца исчезаетъ прежде самой юности.

И эти немногія души, которымъ удастся уцѣлѣть послѣ ихъ разрушеннаго счастія, наплываютъ на мели преступленій, или уносятся въ океанъ буйныхъ страстей. Ихъ путеводный компасъ изломанъ, или стрѣлка его напрасно указываетъ на берегъ къ которому ихъ разбитая ладья никогда, не причалитъ.

Тогда-то сходитъ на душу тотъ мертвенный холодъ, подобный самой смерти; сердце не можетъ сочувствовать страданіямъ другихъ, не смѣетъ думать о своихъ собственныхъстраданіяхъ; ручей слезъ покрывается тяжелою ледяною корою: а если и блестятъ еще очи,—то это блескъ льда.

Хотя остроуміе порою ярко сверкаєть еще въ устахъ и смѣхъ развлекаетъ сердце въ часы полуночи, которые не даютъ уже прежней надежды на успокоеніе, но все это какъ листы плюща, обвивающіеся вокругъ развалившейся башни: веленые и дико-свѣжіе сверху, сѣрые и землистые снизу.

О, если бъ могъ я чувствовать, какъ чувстовалъ прежде, быть тѣмъ, чѣмъ былъ... или плакать объ исчезнувшемъ, какъ бывало плакалъ... Какъ бы ни былъ мутенъ и нечистъ ручей, найденный нечаянно въ пустынъ, онъ кажется сладостнымъ и отраднымъ: такъ отрадны были бы мнѣ мои слезы среди опустошенной степи моей жизни.

Сличите хоть второй куплетъ нашего буквальнаго прозапческаго перевода съ стихотворнымъ переводомъ Жуковскаго:

Наше счастіе разбитое Видимъ мы игрушкой волнъ; И въ далекій мракъ сердитое Море мчитъ нашъ бѣдный челнъ. Стрѣлки нѣтъ путеводительной, Иль вотще ея магнитъ Въ бурю къ пристани спасительной Челнъ безпарусный манитъ.

То ли это?... Въ послъднихъ двухъ куплетахъ еще болѣе искажена мысль Байрона.

Но—странное дъло!— нашъ русскій півецъ тихой скорби и унылаго страданія обрѣль въ душѣ своей крѣпкое и могучее слово для выраженія страшныхъ подземныхъ мукъ отчаянія, начертан-

ныхъ молніеносною кистію титаническаго поэта Англіп! "Шильйонскій Узникъ" Вайрона переданъ Жуковскимъ на русскій языкъ стихами, отзывающимися въ сердцѣ, какъ ударъ топора, отдѣляющій отъ туловища невинно-осужденную голову. Здѣсь въ первый разъ крѣпость и мощь русскаго языка явилась въ колоссальномъ видѣ, и до Лермонтова болѣе не являлась. Каждый стихъ въ переводѣ "Шильйонскаго Узника" дышитъ страшною энергіею, и надо совершенно потеряться, чтобъ выписать лучшее изъ этого перевода, гдѣ каждая страница есть равно лучшая. Но мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ только эту ужасную картину душевнаго ада, въ сравненіи съ которымъ адъ самаго Данте кажется какимъ-то раемъ:

Но что потомъ сбылось со мной, Не помню.. свътъ казался тьмой, Тьма свѣтомъ; воздухъ исчезалъ; Въ оцъпънении стоялъ, Безъ памяти, безъ бытія, Межъ камней хладнымъ камнемъ я; И виделось, какъ въ тяжкомъ сне, Все блѣднымъ, темнымъ, тусклымъ мнѣ; Все въ смутную слилося тѣнь; То не было ни ночь, ни день, Ни тяжкій світь тюрьмы моей, Столь ненавистный для очей: То было тьма безъ темноты; То было бездна пустоты Безъ протяженья и границъ, То были образы безъ лицъ, То страшный міръ какой-то былъ, Безъ неба, свъта и свътилъ, Безъ времени, безъ дней и лѣтъ, . Безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ, Ни жизнь, ни смерть-какъ сонъ гробовъ, Какъ океанъ безъ береговъ, Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и нѣмой.

Много было расточено похваль переводу отрывка изъ поэми Томаса Мура "Дивъ и Пери"; но переводъ этотъ далеко ниже похвалъ: онъ тяжелъ и прозаиченъ, и только мъстами проблескиваетъ въ немъ поэзія. Впрочемъ, можетъ-быть, причиною этого и самъ оригиналъ, какъ не совсъмъ естественная поддълка подъ восточный романтизмъ. Несравненно выше, по достоинству перевода, почти никъмъ незамъченная поэма "Судъ въ подземельъ".

"Овсяный Кисель", "Красный Карбункулъ", "Деревенскій Сторожъ въ Полночь", "Сраженіе съ Змѣемъ", "Неожиданное Свиданіе", "Путешественникъ и Поселянка" (изъ Гете), "Норманскій Обычай", "Тлѣнность", "Война Мышей съ Лягушками",

"Ценксъ и Гальціона" и отрывки изъ "Эненды" и "Иліады" принадлежать къ числу замѣчательныхъ переводовъ Жуковскаго. Въ отрывкахъ изъ "Иліады" стихъ легче, чѣмъ стихъ Гнѣдича; но въ послѣднемъ, по нашему мнѣнію, болѣе жизни, болѣе греческаго духа и колорита. Впрочемъ, Жуковскій эти отрывки перевелъ съ латинскаго.

Сдълаемъ перечень всъмъ пьесамъ Жуковскаго и переводнымъ, и подражательнымъ, и оригинальнымъ, которыя мы считаемъ или лучшими, или самыми характеристическими его произведеніями. Изъ балладъ: "Рыцарь Тогенбургъ", "Ивиковы Журавли", "Лъсной Царь", "Кассандра", "Три Пъсни", "Графъ Габсбургскій", "Узникъ" "Эолова Арфа", "Ахиллъ", "Поликратовъ Перстень", "Старый Рыцарь", "Роландъ Оруженосецъ", "Плаваніе Карла Великаго", "Кубокъ", "Замокъ Смальгольмъ", "Перчатка", "Покаяніе", "Отрывки изъ Испанскихъ романсовъ о Сидъ". Изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ: "Тоска по миломъ", "Цвътокъ", "Пъснь Араба надъ могилою коня", "Пловецъ", "Счастливъ тотъ, кому забавы", "О, милый другъ, теперь съ тобою радость", "Минувшихъ дней очарованье", "Жалоба", "Върность до гроба", "Голосъ съ того свъта", "Ночь", "Утьшеніе въ слезахъ", Къ мъсяцу", "Иъсня Бъдняка", "Весеннее Чувство", "Утьшеніе", "Таинственный Посьтитель", "Мотылекъ и Цвъты", "Къмимопролетъвшему знакомому генію", "Желаніе", "Младенецъ", "Сонъ", "Счастіе во снъ", "Къ востоку, все къ востоку", "Ровы расцвътаютъ", "Замокъ на берегу моря", "Горная дорога", "Пъвецъ", "Жизнь", "Узникъ къ мотыльку, влетъвшему въ его темницу", "Элизіумъ", "Путешественникъ", "Слявянка", "Вечеръ", "На кончину Королевы Виртембергской", "Сельское Кладоище", "Море", "Праматерь Внукъ", "Къ Филону", "Двъ Пъсни", "Привидъніе", "Мечта", "Побъдитель", "Три путника", "Видъ-ніе", "Теонъ и Эсхинъ", "Счастіе", "Ночной Смотръ", "Утренняя Звъзда", "Льтній Вечеръ".

Многія изъ этихъ піссь уже не могутъ имѣть такого интереса, какой имѣли прежде, и не могутъ читаться съ такимъ восторгомъ и упоеніемъ, съ какимъ читались прежде; но причина эгого заключается совсѣмъ не въ талантѣ Жуковскаго, а въ содержаніи и духѣ этихъ пьесъ. У всякаго времени есть своя задушевная дума, то радостная, то тяжелая; есть свои потребности и свои интересы, а потому и своя поэзія. Неувядаемость поэзіи каждой эпохи зависитъ отъ идеальной значительности этой эпохи,

отъ глубины и общности идеи, выраженной ея историческою жизнію. Долье всьхъ живутъ такія произведенія искусства, которыя во всей полноть и во всей силь передаютъ то, что было самаго истиннаго, самаго существеннаго и самаго характеристическаго въ эпохь. Все же, что не выполняетъ этихъ условій или выполняетъ ихъ неудовлетворительно,—все такое теряетъ свой интересъ въ другую эпоху, и мало-по-малу навыки смывается волнами шумнонесущейся жизни. И немногое, слишкомъ немногое выносится наверхъ волнами этого глубокаго и безбрежнаго океана, и какъ много тонетъ въ его бездонной глубинь!...

Многія пьесы Жуковскаго, совершенно отжившія для нашего времени, все-таки имъютъ свой исторический интересъ, и безъ нихъ полное изданіе сочиненій Жуковскаго не им'вло бы общаго характера поэзін Жуковскаго. Таковы: «Людмила», «Алина и Альсимъ», «Двънадцать Спящихъ Дъвъ», «Иввецъ во Станъ Русскихъ Воиновъ , и проч.-Посланія Жуковскаго заключають въ себь, мьстами и отрывками, характеристическія черты времени, въ которое они писаны; сверхъ того, въ нихъ, какъ зам'етили мы выше, встръчаются поэтические проблески и замъчательныя мысли. Особенно слабыми пьесами (иныя по форм'в, иныя по содержанію, иныя по тому и другому) считаемъ мы слъдующія: "Пъсня Барда надъ гробомъ Славянъ побъдителей", "Пъвецъ въ Кремлъ", "Пиршество Александра, или сила гармоніи" (изъ Драйдена), "Гимнъ" (подражаніе Томсону), "Библія", "Сонъ Могольца", "Эпимесидъ", "Орелъ и Голубка", "Добрая Мать", "Спротка", "Подробный Отчетъ о Лунъ" (какое-то странное résumè всего говореннаго поэтомъ о лунь въ разныхъ стихотвореніяхъ его), "Алонзо", "Доника", "Ленора", "Королева Урака", "Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка вхала на черномъ конв вдвоемъ, и кто сидёль впереди", "Двъ были и еще одна", "Фридолинъ" (прекрасный переводъ странной по содержанію пьесы Шиллера), "Сказка о Царъ Берендев и Сказка о Спящей Царевнъ". Что касается до "Аббадоны"—это мастерской, превосходный переводъ изъ самой натянутой, какая только была въ свътъ, и совершенно забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковскаго, если бъ не упомянули о дивномъ искусствъ этого поэта живописать картины природы и влагать въ нихъ романтиче-

скую жизнь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, ночь ли, ведро ли, буря ли, или пейзажъ,—все это дышитъ, въ яркихъ картинахъ Жуковскаго, какою-то таинственною, исполненною чудныхъ силъ жизнію... Примъры лучше всего объяснять нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвътущія равнины Старинный Ивлингфоръ. И пышныя съ высотъ его картины Повсюду видѣлъ взоръ. Авонъ, шумя подъ древними стѣнами, Ихъ пъной орошалъ, И низкій брегъ съ лѣсистыми холмами Въ струяхъ его дрожалъ. Тамъ пламенълъ бреговъ на тихомъ склонъ Закать сквозь редкій лесь; И трепеталъ во дремлющемъ Авонъ, (ъ звъздами сводъ небесъ. Вдали, вблизи разсыпанныя села Дымились по утрамъ, Отъ рѣзвыхъ стадъ долина вся шумѣла И вторилъ лѣсъ рогамъ. Спѣшилъ, съ пути прохожій совратяся, На Ирлигфоръ взглянуть, И, красотой его плѣняся, Онъ забывалъ свой путь.

[«Варвикъ»).

Владыко Морвены, Жилъ въ дѣдовскомъ замкѣ могучій Ордалъ; Надъ озеромъ стѣны Зубчатыя замокъ съ холма возвышалъ; Прибрежны дубравы Склонялись къ водамъ, И стлался кудрявый Кустарникъ по злачнымъ окрестнымъ холмамъ. Спокойствіе сѣней Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ нарушалъ; Рогатыхъ оленей И вепрей и ланей могучій Ордалъ Съ отважными псами Гонялъ по холмамъ; И долы съ холмами, Шумя, отвъчали зовущимъ рогамъ.

На темные своды
Багрянымъ щитомъ покатилась луна;
И овера воды
Струпстымъ сіяньемъ покрыла она;
Отъ замка, отъ сѣней
Дубравъ по брегамъ
Огромные тѣней
Легли великаны по гладкимъ водамъ.

. Прохладно дышитъ

Тамъ вътеръ вечерній и въ листьяхъ шумитъ. И вътки колышетъ,

И арфу лобзаетъ. . но арфа молчитъ.

Творенія радость, Настала весна-

И въ свѣжую младость,

Красу и веселье земля убрана.

И яркимъ сіяньемъ

Холмы осыпалъ вечервющій день; На вемлю съ молчаньемъ

Сходила ночная росистая тынь;

Ужъ синіе своды

Блистали въ звѣздахъ; Сравнялися воды,

И вътеръ улегся на спящихъ листахъ. [«Эолова Арфа»].

И вотъ... насталъ послѣдній день; Ужъ солнце за горою;

И стелется вечерня тѣнь

прозрачной пеленою; Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна

Блеснула изъ-за тучи;

Легла на горы тишина,

Утихъ и лъсъ дремучій; Ръка сравнялась въ берегахъ; Зажглись свътила ночи;

И сонъ глубокій на поляхъ; И близокъ часъ полночи...

И все въ ужасной тишинъ;

Окрестность какъ могила; Вотъ... каркнулъ воронъ на стѣнѣ,

Вотъ... стая псовъ завыла;

И вдругъ... протяжно полночь бьетъ;

Нашли на небо тучи; Рѣка падулась; боръ реветъ;

И мчится прахъ летучій...

Напрасно вѣетъ вѣтерокъ

Съ душистыя долины;

И свътъ луны сребритъ потокъ

Сквозь темны липъ вершины;

И ласточка зари восходъ

Встрѣчаетъ щебетаньемъ;

И роща въ тѣнь свою зоветъ Листочковъ трепетаньемъ;

И шумъ бъгущихъ съ поля стадъ

Съ пастушьими рогами

Вечерній мракъ животворять, Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и последній день Край неба озлащаеть; Сквозь темпую дубравы сфнь

Блистанье проникаеть; Все тихо, весело, свътло,

Все нѣгой сладкой дышить;
Рѣка прозрачна, какъ стекло;
Едва, едва колышетъ
Листами легкій вѣтерокъ;
Въ поляхъ благоуханье;
Къ цвѣтку прилипнулъ мотылекъ
И пьетъ его дыханье..
[«Громобой»].

И воцарилась всюду тишина; Все спитъ... лишь изръдка въ далекой мглъ промчится Невнятный гласъ... или колыхнется волна... Иль сонный листъ зашевелится Я на брегу одинъ... окрестность вся молчитъ... какъ привидъніе, въ туманъ предо мною Семья младыхъ березъ недвижимо стоитъ Надъ усыпленною водою. Вхожу съ волненіемъ подъ ихъ священный кровъ; Мой слухъ въ сей тишинъ привътный голосъ слышитъ: Какъ бы эвирное тамъ въсть межь листовъ, Какъ бы невидимое дышить; Какъ бы сокрытая подъ юныхъ древъ корой, Съ сей очарованной мъшаясь тишиною, Душа незримая подъемлеть голось свой (ъ моей беспдовать душою. И нъкто урнъ сей безмолвный присъдитъ; И, мнится, на меня вперилъ онъ томны очи; Безъ образа лицо, и зракъ туманный слитъ Съ туманнымъ мракомъ полуночи. Смотрю... и мнится, все, что было жертвой лѣтъ, Опять въ видѣніп прекрасномъ воскресаетъ; И все, что жизнь сулить, и все, чего въ ней нътъ, Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ..

Такихъ примъровъ мы могли бы выписать и еще больше, но думаемъ, что и этихъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа—романтическая природа, дышащая таинственною жизнію души и сердца исполненная высшаго смысла и значенія.

(«Славянка»).

Стихъ Жуковскаго неизмъримо выше стиха всъхъ предшествоващихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодіи и вмъстъ съ тъмъ какой-то сжатой крыпости и энергіи. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіи Жуковскаго. И, не смотря на то, еще многаго не доставало этому стиху: онъ еще далеко не совсъмъ свободенъ, не совсъмъ глубокъ. Содержаніе поэзіи Жуковскаго было такъ односторонне, что стихъ его не могъ отразить въ себъ всъ свойства и все богатство русскаго языка. Батюшковъ тоже не мало сдълалъ для русскаго стиха; но, не смотря на соединенныя заслуги этихъ двухъ поэтовъ, созданіе вполнъ поэтическаго и вполнъ художественнаго стиха предлежало Пушкину. Кромъ односторонности

содержанія поэзіи Жуковскаго, не должно еще забывать, что поэтическая д'ятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой—подъ влічіемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и, особенно, подъ вліяніемъ идей Карамзина. Правда, онъ и въ патріотическія стихотворенія и въ посланіи внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-такн отзывается болѣе или менѣе фактурою старыхъ мастеровъ нашей поэзіи. Попадаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго стихи тяжелые и темные, какъ, напримѣръ, эти:

> Ихъ одобренье намъ награда, А порицаніе—ограда Отъ убивающаго даръ Надменной мысли совершенства.

Иногда разстановка словъ напоминаетъ Ломоносова, какъ, напримъръ:

> А ты, дарующій и тронъ и власть царямъ, Ты, на свъть ихъ съдящій благодатью, Ознаменуй Твоей дила мон печатью

Есть, наконець, стихи (правда, ихъ поискать да поискать). въ которыхъ въетъ духъ Хераскова, какъ напримъръ:

Бъгутъ—во прахъ и громъ, и шлемъ, и щитъ Виреди, въ тилу, съ боковъ и рядомъ(?) страхъ бъжитъ.

Жуковскій не могь не им'ьть сильнаго вліянія на Пушкина; но, въ свою очередь, и Пушкинъ имълъ сильное вліяніе на Жуковскаго: всв стихотворенія, написанныя имъ уже по истеченін второго десятильтія текущаго выка, отличаются несравненно лучшимы общимъ недостаткамъ стихомъ. Бъ поэзіи Жуковскаго принадлежить, часто, невыдержанность въ цъломъ: ръдкая пьеса его не теряетъ много изъ стоего достоинства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія "На Смерть Королевы Виртембергской имжетъ служить образомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своею растянутою прозанчностью ослабляющие впечатленіе целаго.

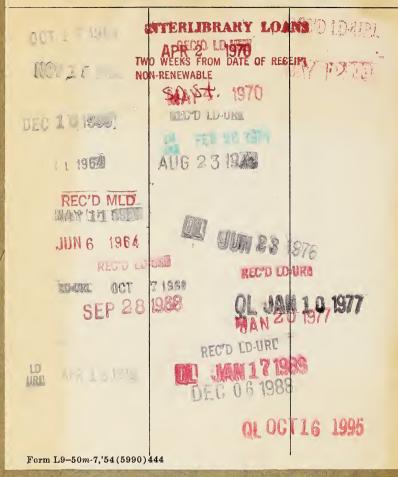
Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическоя муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богинею Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія "въ оный таинственный свътъ", которому нътъ имени, нътъ мъста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цёли, когда горячія желанія съ быстротою смѣняють одно другое, и сердце, желая многаго, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему, и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человъка порывисто бъется любовью къ идеалу и гордымъ презръніемъ къ дъйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взивается къ свътлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Въ эту пору жизни человъка любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаеть полнаго обладанія. Правда, въ этой поръ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чъмъ сердца, и за нею непримънно должна слъдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобъ человъкъ пришель въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужнымъ нарядомъ фантазін; чтобъ онъ могъ понять, что вѣчное п безконечное является въ проходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа въ тъль... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человъка,—и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредъленному пдеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію—не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; в'бчно будеть онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тъла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духъ среднихъ въковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человъка, но и въ развитіи каждаго народа и пълаго человъчества. Средніе въка были этимъ великимъ народа и цълаго человъчества. Средніе въка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а слъдовательно, и всего человъчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствъ среднихъ въковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имъли своихъ среднихъ въковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько покольній и всегда будетъ такъ красноръчиво говорить душть и сердцу человъка въ извъстную эпоху его жизни. Жуковскій—это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредъленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всёхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душтв и сердцу въ извъстный возрастъ жизни или въ извъстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имътъ. Но Жуковскій, кромътого, имъстъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдълалъ ее доступною для общества, далъ ей возможностъ развитія, и безъ Жуковскаго мы не имъли бы Пушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему нъмецкая поэзія—намъ родная, и мы умъсмъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національностію. Еще въ дътствъ, мы, черезъ Жуковскаго, пріучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего націонать наго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рьчью.





UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

Снладъ изданія въ ннижномъ снладѣ П. М. ЛЕСМАНА, въ Мелитополѣ





